

СИБИРСКИЕ ОГНИ



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ПЕТР ДЕДОВ

Специальный номер журнала «Сибирские огни», который вы держите в руках, посвящен творчеству Петра Павловича Дедова (5 февраля 1933 г. — 17 июля 2013 г.) — выдающегося русского писателя, нашего земляка. Автор прославленной трилогии «Светозары», победитель конкурса Союза писателей СССР за лучшее произведение о крестьянстве, лауреат премии имени Н. Г. Гарина-Михайловского, он, по нашему глубокому убеждению, все еще остается писателем, по-настоящему не прочитанным.

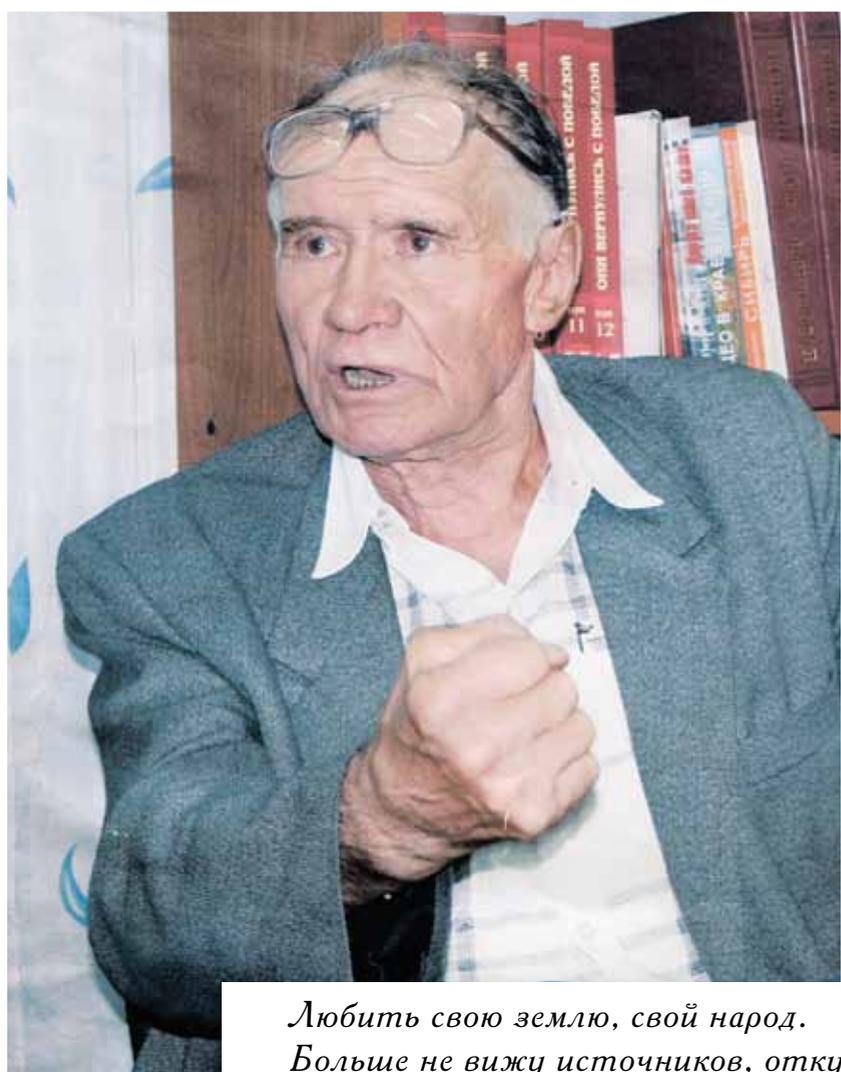
Поэтому мы постарались сделать все, что в наших силах, чтобы пробудить интерес к творчеству и личности Петра Павловича, заново открыть его для читателей.

Номер включает в себя неизвестные и малоизвестные тексты Петра Дедова, его собствен-

норучные рисунки, стихи, фотографии из семейного архива, а также статью о творчестве писателя. Завершают выпуск материалы проходящих в Новосибирске и на родине прозаика, в селе Новоключи Купинского района, ежегодных Дедовских чтений и избранные произведения победителей конкурса имени П. П. Дедова.

«Если хоть одному человеку чтение книги облегчило жизнь его, значит, труд мой потрачен не зря», — говорил Пётр Дедов. Мы точно знаем, что труд его писательский, который он так любил сравнивать с крестьянским, был не напрасен. И предлагаем вам самим в этом убедиться.

Редакция журнала «Сибирские огни»



*Любить свою землю, свой народ.
Больше не вижу источников, откуда
можно было бы черпать вдохновение.*

Пётр Дедов

Пётр ДЕДОВ.

Из литературного наследия

ПЕСНЬ О РОДИНЕ

Эссе

Я стою на весенней земле и слушаю песню о Родине. Земля еще не уютна, не прибрана после снега: грязно-бурые поля, сквозные перелески, утонувшие по колено в воде, да желтые глинистые гривы щетинятся прошлогодними будыльями бурьяна и черной полыни. Что и говорить — безотрадная, серая картина!

Но это моя земля, отсюда начинается исток моей жизни, — и каждый год приезжаю я сюда, чтобы взглядеться в себя и убедиться, не умерла ли в сердце весна, чтобы просветлеть душой, побывав наедине с этими гремящими грачным граем колками, послушать, прислонившись щекой к мускулисту, исковерканному бурьями и машинами стволу придорожной березки, как гудят и бродят под ее корой соки жизни, качаемые из земных глубин мощными насосами... И все эти звуки, а еще — посвист ветра в жухлых бурьянах, еле уловимый шорох палой листвы, сквозь которую пробивается к солнцу молодая трава, да еще клик журавлей в чистом небе, — все эти звуки сливаются вместе и рождают ту неповторимую и милую сердцу музыку, которую зову я про себя песней о Родине.

Как это здорово — иметь на огромной нашей планете вот такой уголок земли, земли твоего детства! Безыизвестный поселок, затерянный в ковыльных степях Кулунды, а на краю его — затравевший холмик, на том самом месте, где стоял когда-то мой отчий дом. Здесь я родился в семье работающих русских людей, здесь вкусил черный хлеб войны — трудный хлеб моего детства, замешанный на сорной траве лебеде. Много с тех пор утекло воды, позабылись все горести и невзгоды, и теперь, когда я думаю о детстве, — оно видится мне самой счастливой порой жизни.

Родина! Это светлые города и корпуса мощных заводов, это уходящие за синь горизонтов пшеничные поля, которые, под стать глубинным водам морским, беспокойно шумят и катят свои тяжелые волны даже в безветренную погоду. Родина — легендарный путь народа нашего, прошедшего от букваря до первой в мире космической ракеты.

Малиновый омут где-то у далекого села твоего детства; солнечная поляна, так усыпанная весенними цветами огоньками, что кажется, это

низовое пламя крадется по траве к беззащитным березовым стволам; полыхающий в полнеба степной закат; глухой проселок, где когда-то сделал ты свой первый шаг по земле, радуясь тому, как плещут фонтанчики горячей пыли меж пальцами босых ног, — все ведь это тоже Родина. Именно эта Родина возникает в проснувшейся вдруг памяти, когда, усталый возвращаясь с работы, услышишь ты в зоревом весеннем небе тревожный и вечно зовущий клик журавлей...

И долго стоишь ты, подняв к небу лицо, и удивляются тебе прохожие, а ты все глядишь на облака, уже по-летнему тяжелые, налитые молочной белизной и поддурмяненные закатом, — и кажется, что это розовые кони летят по голубому полю. И тебе вспоминается...

...Любимая забава для деревенских мальчишек — гонять в ночное лошадей. После рабочего дня кони приходили усталые, сбивались в кучу; они лениво рысили вдоль деревни, и розовая от заката пыль оседала на их потные спины. Но за околицей, вдруг почуяв на трепетных ноздрях полынный и вольный ветер степей, на глазах преображались эти сутулые работяги. Вскинув тяжелые головы, они тревожно ржали в вечерней степи, и в этом ржании было что-то дикое, и становились похожими они на своих вольных предков.

Потом кони переходили на крупную рысь — и вот уже галопом мчались по ископыченной земле, и только гривы полоскались по ветру. Никогда не позабыть тебе этих мгновений — как в страхе холодело сердце, как ветер свистел в ушах, как пузырилась и хлопала за спиною рубаха, словно выросли у тебя крылья...

...А еще вспоминается медовая пора сенокоса, зеленое море луговых трав и белая кипень цветов — словно клочья облаков опустились с неба. И пьянящий аромат, и необоримое желание броситься в эти травы, затеряться в них навсегда. Далеко видно идущих по пояс в траве косарей, как серебристо вспыхивают литовки, словно игривые щучины всплескиваются над зелеными волнами...

То была военная пора, и никого из мужиков не осталось в твоей деревне. А травы уже подошли, настало время покоса, и тогда бабы пришли на поклон к деду Парфёну, потому что такой уж в селе был обычай: первую гонку должен пройти мужчина. Парфён готовился к смерти, он давно сделал себе тесовый гроб, который ждал пока на чердаке, а тут обрадовался дед, посветлел лицом и все покрикивал, строжился на свою старуху, что рылась в сундуке, разыскивая новую посконную рубаху, тоже приготовленную на случай его смерти.

Его привезли в луга, он первым делом проверил на палец лезвия всех литовок и заворчал на баб, что вот-де они, мокрохвостые, и косу-то как следует отбить не могут. Потом выпрямился, торжественный и помолодевший, трижды перекрестился на солнце и сделал первый замах. Полоска травы качнулась и осела — сразу запахло свежими огурцами. А бабы стояли в горькой позе своей, подперевши ладонями подбородки, и глядели, как дед Парфён старается, выбиваясь из последних сил, дотянуть свою гонку. Он дошел до конца, сделал последний взмах и навзничь, раскинув руки, упал на прохладную траву. Так и застыла радостная улыбка на его мертвом лице...

Навсегда запомнил ты эту улыбку на лице хлебопашца, который лежал, обнимая землю, может быть оттого, что всю жизнь поливал он ее своим потом и многие поколения предков его тоже жили и умирали на этом поле и поливали своей кровью, потом и слезами.

*В последний миг не чувствовал он боли,
Лишь ком земли обрушился на грудь...
А ты, живой, имеешь свое поле,
Которое продолжит кто-нибудь?*

Поле твоей жизни... Есть ли оно? И какое оно? И ты вспоминаешь самое начало, то первое утро, когда такой же вот дед Парфён дал тебе сыромятный кнут и показал, как надо держать чапыги плуга. И пошел ты, десятилетний, босиком по холодной и неласковой земле, и первая та борозда показалась тебе бесконечной, а к вечеру, одурманенный запахом черноземной полосы, ты упал на жесткую стерню, но перед глазами все текли и текли черными ручьями борозды из-под сверкающего лемеха... Наверное, потом будет у тебя другая работа, и сам ты станешь другим, и многое вытравит из памяти беспощадное время, но никогда не позабудется этот горький и счастливый день, как не забывается первая любовь.

...А память листает страницы прошлого, и вот видишь ты глаза своей первой любви, синие, как само счастье. Ах как хороша была та ночь! Вы сидели над озером, было сумеречно, месяц еще спал в соседнем стоге сена. Сидели молча, потому что у любви нет слов, и то, что мы говорим женщинам, становясь взрослыми и многоопытными, — лишь заученные фразы, идущие от разума, а сердце слов не имеет...

Выглянула из-за стога луна, и, клубясь, стало сворачиваться над водой белое одеяло тумана: луне нужно было зеркало, чтобы оглядеться и оправиться после сна. Большая роса пала на траву, степь стала серебряной, и когда пошли вы нарвать цветов, то две темные дорожки, далекие одна от другой, потянулись следом. Дорожки так и не соединились, а вернувшись к озеру, увидели вы другую луну, которая глядела из воды.

Вы долго плели венок из мокрых, дивно пахнущих цветов, и потом Она бросила его в озеро, и лицо ее стало напряженным, а губы безмолвно шептали что-то. Кругами пошла мелкая рябь, ломая зигзагами прибрежные камышинки. Зыбкие струи приблизились к луне, качнули ее раз-другой, будто пробуя на разрыв, — и луна не выдержала, расплескалась на мелкие блески. Ты увидел, как побледнела Она, и у тебя самого защемило глаза, словно тогда уже понял, что это на мелкие блески рассыпалось ваше хрупкое счастье...

...А память все крутит и крутит свою киноленту, и новые картины встают перед взором, и у каждого человека они свои, может быть совсем не похожие на эти, потому что у каждого своя судьба, потому что каждый человек — это целый мир, удивительно сложный и многогранный. И понятие Родины у каждого складывается по-своему, из этих милых его только сердцу картин настоящего, прошлого и будущего, о которых стесняемся мы порою говорить вслух, чтобы ненароком кто-нибудь не оскорбил то самое

высокое и святое, за что идут на смерть. А едино у всех одно: понятие Родины — это понятие счастья.

Не так давно был я в Болгарии, отдыхал на Черном море. Как-то мы вышли на лодке порыбачить, заплыли далеко. Было раннее утро, за розовой кисеей тумана экзотический берег в разноцветии осенних красок казался сказочным, напоминал декорацию на оперной сцене. Море покоилось в штиле, и только по тому, как ритмично приседал, скрываясь из виду, далекий маяк, можно было догадываться, какие там на просторе громадные ходят волны. В темно-зеленых глубинах, если приглядеться, можно было увидеть странных светящихся существ — это медленно плавали неведомые мне рыбы, окруженные фосфорическим сиянием.

И все это: зоревые облака, будто окаймленные застывшими молниями, декоративный берег, розовый парус в неясной дали и розовые чайки над головой — все это казалось нереальным, напоминало сон из давно забытых сказок детства.

И вдруг почувствовал я приступ дивной болезни, которая называется ностальгией, а проще — тоской по Родине. Захотелось домой, под свое уютное, холодное небо, чтобы полежать на угретой последним солнцем земле и, вдыхая запах вянущей полыни, послушать, как тоскливо шумит ветер в бурных степных бурьянах...

И вот я стою на весенней земле, слушаю песню о Родине...

Пётр ДЕДОВ

Из записных книжек



Людей надо учить добру, а зло — оно само почему-то рождается. Это — как в огороде: нужную овощь лелеять надо, а сорняк никто не сеет, не поливает, он сам прет, только полоть успевай...

* * *

Город: чем гуще, плотнее живут люди, тем они отчужденнее друг от друга. Этим человек отличается от пчел и муравьев...

* * *

Жалок тот, кому не дано наслаждаться языком художественной прозы.

* * *

Я был крестьянином. Сейчас вроде бы писатель. Разница небольшая: давать хлеб насущный народу и давать хлеб духовный. Сходство большое: как там, так и здесь — не скалтуришь, труд твой весь на виду, в кусты не уйдешь, как в других профессиях...

* * *

Сибирью и сейчас пугают, а мы здесь живем...

* * *

Гладко говорят люди начитанные, много знающие, но не творческие, не глубокие: они не споткнутся о неожиданно вспыхнувший образ или мысль.

РУССКАЯ ДОЛЯ

Эссе

Жене Оле

Взгляните на русского крестьянина: есть ли и тень рабского унижения в его поступи и речи? О его смелости и смысленности и говорить нечего. Переимчивость его известна. Проворство и ловкость удивительны.

А. С. Пушкин

Почему бы не вообразить раннее зимнее утро и Льва Николаевича Толстого, который в своей Ясной Поляне вышел во двор и занялся обычным каждодневным делом — стал колоть дрова, носить воду, расчищать у калитки выпавший за ночь робкий снежок, тут же, походя, разговаривать с пришедшими в усадьбу крестьянами, рассуждать не только о насущных делах, но и о сути земного бытия, о Боге... а после гулять по заснеженным аллеям парка, ощущая внутренним чутьем тайную перемену в природе: словно стонулось что-то, надломилось в железных устоях зимы, — весною запахло.

Лев Николаевич весело огляделся из-под мохнатых, сурово надвинутых бровей: воистину первобытно подвержен изменениям в природе русский человек!

...И почему бы не предположить, что в это самое время в далеком сибирском селе Чумашки, затерянном на бескрайних просторах великих Кулундинских степей, вышел управляться в своем подворье чалдон Арсентий Безродных. Утренних дел у него непочатый край. Одно перечисление займет много времени... Вот он запрягает свою сивку-бурку и едет на озеро Чаны за водой. Ночью прорубь затянуло синим ледком. Арсентий сбрасывает полушубок, принимается за работу. Лыдинки позванивают о края бадьи, деревянная бочка быстро наполняется пахучей озерной водой, над которой курится вялый парок.

Отверстие бочки Арсентий затыкает пучком соломы и, прежде чем тронуться, поднимает вверх бородатое лицо и жадно ловит взглядом пятна просини меж тяжелых пепельных туч, заваливших небо: «Эко, паря, благодать Господня! Весна идет...»



Одинаковые чувства вызывают у них таинственные перемены в природе, потому что одной они земли, одного роду-племени, одной крови, — великий писатель Лев Толстой и безграмотный чалдон Арсентий Безродных. И равными благословением Божиим появились они на свет, чтобы пройти каждому свой земной путь, только пути эти оказались совсем-совсем разными. Наверное, нет сейчас в мире человека, который не знал бы, не слышал бы имени Толстого, и творения его будут жить в веках, а земной путь прадеда моего — как след на воде: прочертился — и нету, и не осталось уже ни одной души, которая вспомнила бы о нем... Да что там — и могилка его давным-давно сровнялась прахом с бесконечным степным простором.

А что о своих предках известно мне? Почти ничего. На прадеде Арсентии и обрываются все мои познания. Лишь могу вообразить, что более дальние предки также были из самого многочисленного и главного, а также самого многострадального и унижаемого сословия — русских крестьян, хлебопашцев и воинов.

А потому, когда известный в Сибири писатель Михаил Щукин предложил мне написать для своего журнала что-то вроде родословной, я, может быть, впервые задумался о своих корнях. Сказал ему, что предки мои — темны и безвестны, что я первый в своем роду и по отцовской, и по материнской линии получил вначале среднее, а потом и высшее образование... вырвался первым «из тьмы веков на свет Божий»!

— И кому будут интересны мои предки?

— Не знаю, — слукавил Михаил Николаевич. — Правда, был один такой... Лев Толстой, которому оч-чень интересны были крестьяне, он лучше всех русских писателей их знал, хотя сам был графом. И считал крестьянский труд самым главным и полезным на свете. Сам в конце жизни ушел из дому, чтобы по-крестьянски кормиться своим трудом на земле... И еще одного человека знаю, который о русском мужике был высочайшего мнения, как ни о ком другом...

(После я нашел высказывание этого «еще одного человека» и поставил его эпиграфом к этим своим заметкам.)

И стал вспоминать...

* * *

Своего прадеда Арсентия Безродных я застал в живых. Было ему в ту пору больше ста лет. Хорошо помню поездку с бабушкой Федорой (его дочерью) на лошади в село Чумашки, где он жил. Было это сразу после войны.

Село поразило своей необычностью. Маленькие глинобитные избы были в беспорядке разбросаны по песчаному берегу великого озера Чаны. Эти жалкие лачуги напоминали жилища первобытных людей, как их изображали в школьных учебниках.

Избенка прадеда, полутемная, об одном крохотном оконце, с земляным полом и глиняными щелястыми стенами повергла в шок даже меня, живущего в безотрадной бедности. Вся домашняя утварь, все эти горшки, кувшины, миски, кружки и даже ложки были из обожженной глины. И сколько ни зыркал я по сторонам — ничего в этой избе не нашел металлического, стеклянного или хотя бы деревянного: даже вместо стола стояла каменная тумба, а лежак был выложен из самана.

— Шибко уж бедно живут, — шепнул я бабушке Федоре.

Когда мы приехали, изба была не заперта и в ней никого не было.

— Знамо дело, что бедно, — отозвалась бабушка. — Откуда ему, богатству-то, быть? Хлебушко здесь родит худо, скотинешку тоже водить не с руки — земля, вишь, неудобная, солонцы сплошь. До войны жили рыбалкою, а счас и рыбалить некому...

Вскоре появились хозяева: маленький лысый старичок и такая же маленькая старушка. (После бабушка пояснила, что Арсентий пережил трех старух, эта четвертая. А когда я спросил, почему все встреченные в Чумашках люди такие малорослые, она ответила однозначно: «От скудного питанья. Возьми северные народы, эскимосы там разные...»)

— Ах, кулига тебе греха! — затоптал, заплясал вокруг нас увертливый старичок. — Вы дак прямо как баре — на своей коняге... А это что с тобой за добрый молодец? — Старичок подбежал ко мне, холодной и цепкой, как птичья лапка, рукой взъерошил волосы. — Не Петька ли, Павла сынок, такой вымахал? Дак, кажись, вчера я на руках его тетешкал, он ишо за пазуху умудрился мне напрудить...

— Бежит, тятя, времечко, — вздохнула бабушка и перекрестила его, поцеловала в лысину. — Ты дак вроде и не стареешь — все бегом да вприпрыжку.

— А што мне годы, — задорным петушком приосанился дед, — годы не уроды! Мне вот как с рождения накрутили пружину, так и прыгаю без роздыха...

Помню еще, как плавали с дедом рыбачить на утлой лодке-плоскодонке, из которой вместо рыбалки пришлось без роздыха вычерпывать воду такой же, как лодка, дырявой галошей. А мне все не терпелось спросить у деда: правда ли, как говорила бабушка Федора, видел он царя?

— А как же, видал, — охотно отозвался дед.

— Шибко он страшный? На картинках рисуют — лупоглазый такой, с розгами.

— Да нет, навроде человек как человек. — Дед явно не умел хоть что-нибудь подсочинить для интереса. — Я, правда, издалека его видел-то. Это когда мы из Болгарии возвращались, с турецкой войны... Нас много, солдату-то, идем, горланим «ура», а он сидит на коне... без шапки...

Помню, еще один вопрос назойливо вертелся у меня на языке и я ляпнул с детской непосредственностью:

— Дедушка, а тебе пожить еще охота?

Старик не удивился, ответил сразу, словно давно ждал этого вопроса:

— Пожить-то, отчего бы не пожить, да робить, вишь, не могу больше... А так, чужим трудом — какая это жисть?..

«Это и есть главное открытие — жить только своим трудом, — которое сделал старик за всю свою столетнюю жизнь? — удивился я. — Так об этом в школе с первого класса начинают долдонить...»

Много с тех пор минуло лет, многое позабылось, и, наверное, я, тринадцатилетний мальчишка, не мог, не умел тогда думать так, такими словами, какие пишу сейчас. Но остались в памяти еле уловимые ощущения, связанные с поездкой к древнему прадеду, таинственный смысл жизни которого так мучительно хотелось разгадать.

Но и теперь, через много лет, разгадать я его не могу. Свой — тоже. Только и остается молвить: слава Богу за все!

* * *

Бабушка моя, Федора Арсентьевна, великой ругательницей была!

Как сейчас слышу: летней утренней ранью, когда спит еще деревня и вся земля нежится в недокучливой теплыни, укрытая туманной дымкою, и дышит глубоко и ровно, полной грудью, и как бы потягивается в сладком сне, — эту оглушительную тишину нарушает вдруг во дворе звонкий бабушкин голос:

— Ах, разопасни тебя в душу, нечистая ты сила, сатана хромоногая! Язвило бы тебя, холера бы тебя задавила, антонов огонь бы спалил, анчутку криволапую! Гром тебя разрази, варначку блудливую!

Воистину — целый фольклорный каскад! И ведь не зря: в бабушкин огород залезла хромоногая соседская курица и «порешила» парочку огурчиков.

Примерно так раным-рано начинается суматошный бабушкин день. А дальше — своим чередом: надо подоить и выпустить в стадо корову, пока ребята спят, успеть приготовить им завтрак, а если дело зимой, то обогреть настывшую за ночь избу, сварганить пойло скоту, для чего затопить нашу неохватную и могучую русскую печь. И уму непостижимо, как она, наша маленькая бабушка, справлялась с этим грозным печным пламенем, без усталости ухватом ведерные чугуны и горшки, успевала выхватывать из огня то, что закипало, тут же ставилось новое варево, — и так несколько утренних часов кряду.

А потом... потом — главные дела: стирка, огород, догляд за внучатами, починка-штопка нашей одежки, — да разве перечислишь все дела деревенской женщины, на которой держится большая семья, а значит, и вся держава? (Ниже я скажу, откуда у бабушки Федоры взялось это разновозрастное большее семейство.)

Помню, спросил у нее, почему она не училась в школе.

— А когда учиться-то было? — ответила она вопросом на вопрос. — Маменька померла рано, а мачеха с малых лет запрягла в работу. Так с тех пор и киплю, как в котле адовом. Замуж вышла — думала, передохну. Ан нет: детки посыпались, как картошка из рваного куля; чуть не о каждом годе по ребеночку... У меня ить их девятнадцать было, да в живых-то

осталось только шестеро. Верку-заскребышку на пятьдесят шестом годе понесла! — с гордостью продолжала бабушка свой рассказ. — Это сейчас бабы детей стали бояться: у которой чуть заведется — скачет скорее в больницу либо к повитухе — выскребать. А посла жалуются — здоровья нетути. А в наше-то время родишь, бывало, да не дай Господь в страдную пору случится, дак ребятенка в подол — и на жниво опять. Недосуг разлеживаться-то было...

Как видно из этого рассказа, бабушка не шибко-то блюла разницу между взрослыми и детьми, у нее — что на уме, то и на языке. Да и вообще, в крестьянских семьях не скрывали от детей какие-то взрослые тайны: все было открыто, на виду, и главным воспитательным моментом было поведение, пример взрослых.

Да, закончу о бабушкиной «грамоте». Дед Макар умел читать по слогам и расписываться печатными буквами, а потому, против бабушки, почитал себя великим грамотеем и любил рассказывать такую вот быль или придумку. Будто при венчании с бабушкой им нужно было расписаться в какой-то церковной книге. Дед-то свои каракули поставил, а вот бабушка в нужном месте поставила лишь крестик. «Ты что же, Федора, раньше, помнится, ноликом расписывалась, — заметил батюшка, — а теперь крестик ставишь?» — «Да я же замуж вышла, — нашлась бабушка, — вот фамилия и переменилась».

* * *

Часто задумываюсь: как мы сумели выжить во время войны и после? Ведь теоретически шансов на это не было. Никаких. Голод, холод, страшные эпидемии, безжалостная лютая власть. А вот так и выжили: гуртом да трудом. Не открою истины, если скажу, что общее горе объединяло моих земляков в одну дружную семью. Это радоваться тянет каждого наособицу, а горе делить легче на всех.

Похоронка ли с фронта, еще какая беда — вся деревня, чем может, поможет, каждый готов утешить и отдать страдальцам самое-самое последнее...

Когда в начале сорок первого погиб мой отец, а нас осталось у матери четверо, мне, самому старшему, было всего семь лет, и все мы помаленьку стали умирать от голода: стали пухнуть руки и ноги, водянисто раздулись наши лица, больно было глядеть на свет и все время тянуло ко сну, — в это страшное время пришла к нам (мы жили еще раздельно) бабушка Федора и с порога заявила:

— Перебирайся-ка жить к нам, Александра. Вместе будем горе наше мыкать.

Мама зарыдала и повалилась на пол, а бабушка, поднимая ее, вдруг разрилась такой бранью, какой я даже от нее раньше не слышал:

— Распустила сопли... твою душу, дубина ты стоеросовая, на тебе еще пахать можно, а ты помирать собралась!..

И мы перебрались к бабушке. Но легко сказать — перебрались! В двухкомнатной избе кроме деда с бабкой жили еще две ихних дочери — Крестинья и Вера — и взрослый сын Алексей, который работал в деревенской кузнице молотобойцем. Да нас подвалило пятеро...

Вот так и образовалось бабушкино огромное семейство, все заботы о котором легли на ее плечи, поскольку взрослые члены семьи от зари до зари трудились в нашем колхозе имени Ленина.

Но бабушка не унывала. Накормив и проводив на работу взрослых, она поднимала нас, детей, «на планерку». Определяла каждому участок работы по его силенкам: полоть картошку, пасти гусей, поливать огурцы и капусту. И не вздумай отнекиваться и уклоняться: «Ах ты, идол пучеглазый, варнак сопленосый, окаянная твоя душа! Как жрать, дак аж за ушами пишшит...» — тут уж хватай лейку либо тяпку и чеши во все лопатки к месту назначения...

О бабушке Федоре я мог бы рассказывать без конца, поскольку все мое детство прошло под ее жесткой опекою. Ведь маму свою мы — я и младшие мои братишки Миша и Володя и сестренка Зина — почти не видели. Она работала колхозной дояркой, на ферму уходила, когда мы еще спали, и возвращалась с работы так поздно, что мы были уже в постели.

Вспоминая бабушку, я поражаюсь не только ее трудолюбию и поистине могучей энергии, но восхищаюсь мужеством и отчаянной храбростью. Расскажу только об одном случае из множества.

Дело было зимою, уже после войны. Однажды бабушка вернулась из райцентра Купина, куда ходила «за пенсией». Вот уже шесть или семь лет подряд ходила она туда, за шестьдесят километров, чаще всего пешком, с великой и горькой нуждою — хлопотала себе пенсию за погибшего в сталинградских боях старшего сына своего Никиту. Но сказ ей был один: перед войной сын жил в Кемерове, а не вместе с матерью — значит, пенсия ей не положена.

— Да и отступилась бы, — советовала бабушке моя мама. — Видно, плетью обуха не перешибить.

— Оно-то все так. Твоя правда, Сашенька, — соглашалась бабушка и, понизив голос, горячо шептала: — Умная ты, Александра, баба, а как со стороны поглядишь — дура дурой! Да разве деньги мне ихние нужны? Жили без них и дальше проживем: дело привычное. Мне же другое нужно — шtbody память сынка моего, Никиты, уважили. Шtbody и в деревне нашей, и там, в государстве, все знали, што был он человек достойный, не вертопрах какой-то... Ну и сжалились бы над старухою и платили бы мне хоть по грошику. Я бы тот грошик даже на серянки не тратила, а завязала бы его в уголочке платка и кажин раз думала: это от сыночка мово подарочек! Знать, недаром родила я его, добрым человеком вырастила — и на том свете не забывает свою матушку...

Так вот, тем зимним днем вернулась бабушка из своего дальнего похода — порог переступила, еле ноги волоча, постаревшая, с обутленным лицом. Всю дорогу, от одного села до другого, топала пешком, милостыней питалась, — какие зимой попутки?

Перевалилась бабушка через порог, плюхнулась на лавку — и только чуток отдышалась, зачестила своей скороговоркой:

— А чо я, робятки, видела-а! Помирать буду — не позабуду!

Мои младшие братишка и сестренка кинулись к ней:

— Ба-а, Расскажи!

— А видела я, унучики мои, самого волка!

— Фи-и, — надул губы Мишка, — собака небось?

— А я сказки про волков не люблю, — разочарованно заявила Зина.

— Да вы только послушайте, нечистая ваша... Я же его видела как вот тебя, Зинка. Он ишшо пимы мне облизал.

— Ба-а, расскажи! — снова заканючили ребятишки.

И действительно, случилось с бабушкой какое-то необъяснимое чудо. Всякое с ней случалось во время многолетних походов «за пензией». И блуждала она в метель, и обмораживалась в крещенские морозы, и ночевала зимой в стогу соломы, и тонула в проруби, когда переходила однажды какое-то озеро по неокрепшему льду, — всего и не перечесть, а тут — на тебе! — повстречалась с самим хозяином Кулундинских степей.

— ...Вот, ей-богу, не вру: подошел и облизал мои пимы, — продолжила свой рассказ бабушка Федора. — Это уж потом колотун у меня начался, а попервости я даже вроде и не испугалась... К своей деревне уж стала подходить, ноги еле волочу, а рассветать начало. И почувяла спиной: кто-то на меня смотрит. Оглянулась — вроде бы прибудная собака увязалась. А при мне, как нарочно, даже батожка нет, чтобы отмахнуться. Может, и к лучшему. Поднялась эта непонятная животина и потрусилась, лениво так. Обогнала меня, посередь дороги села, загородила путь. Ближе пригляделась — волк. Его только незнайка с собакой спутает. Он же зверь, от него дичиной за версту несет. И обличьем зверь: шея толстая, гривастая, лоб широкий, што бульжина, а с-подо лба глазищи такой угрюминой сверкают, ажно кровь леденеет. Стоим, глядим друг на дружку. Вот уж правду говорится — встретились соседушки, и поговорить не о чем. До меня сразу-то испуг не дошел — давай узелок с харчишками развязывать. А какие там, к лешему, харчишки? Хлебная корка да шматок сальца... Он за каждым движением моим следит, напряжился весь. Кинула я ему свой харч, он отпрянул, клыками лязгнул. «Ешь, говорю, што бог послал, боле угошшать нечем». Понюхал он мои гостинцы, меня давай обнюхивать, — ну, думаю, все, вместо моей подачки меня самую на завтрак выбрал... А волк этак вот лизнул мой пим и потрусил назад по дороге. И только тут я по-настоящему испугалась. И счас не пойму: што ему помешало расправиться-то со мной? Или сыт был, или такого ласкового обращения никогда не видел? Они ить, звери-то, привыкли, штоба добыча убегала либо сопротивлялась, а я последними харчишками с ним поделилась...

— Ба, и все? — спросил слушавший с открытым ртом Мишка.

— И все. А вам надо, штобы волк разорвал вашу бабушку, тада бы интереснее было, да?

— Не-ет, — уныло протянул Мишка, — но так тоже... Ты хоть бы пинкаря ему по морде врезала.

— Ду-урак тебя понюхал, — пропела бабушка свое любимое изречение...

Я хорошо помню этот рассказ бабушки Федоры, но, повторюсь, не ручаюсь, что именно такими словами, интонациями, жестами он сопровождался, — давно ведь дело-то было, давно. Да и любое воспоминание возьмите, хотя бы и свое собственное: в памяти остался только сам факт, а все остальное дорисовывает воображение...

Помню притчу, которую рассказывал когда-то мой дедушка, Макар Семёнович. Будто жило в прежние времена на нашем Шайдошинском болоте некое чудовище — не то змей, не то огромный ящер с длинным и жирным хвостом — и в голодный год, в бескормицу, чтобы выжить, чудовище это начинало рвать и пожирать собственный хвост, пока не заедало себя насмерть.

Мне вспоминается этот дедушкин рассказ, когда я думаю о нынешней России. Это где и когда на белом свете было такое, чтобы сам народ уничтожал свою родину и самого себя? Мы, русские, в своей стране поставлены в такие условия, что вынуждены исчезать с лица земли, отмирать почти по миллиону каждый год! Пришедшие к власти демократы во всех бедах обвиняют народ. Вот жили, как все нормальные люди на земле, и вдруг — испортились. Телевидение, радио, пресса очерняют нашу историю, а русского человека выставляют перед всем миром как тупицу, лодыря, вора, пьяницу... Ну, насчет вора — сейчас уже каждый знает, кто разворовал Россию. Эти так называемые «новые русские» у всех на слуху, но много ли среди них истинно русских?

Я не идеализирую свой народ, нет. Темен он еще в массе своей, и даже благородная его черта — великодушная всечеловечность — не пошла ему на пользу, а наоборот. Посмотрите, как прочно сцеплены между собою народы других наций. Попади, к примеру, случайно в президенты в той же Франции забулдыга и пьяница, — долго ли он удержался бы в своем кресле? Уверен: поднялся бы весь народ от мала до велика и выкинул бы его в мусорную яму истории. А талибов взять, евреев, тех же чеченцев? У них учиться надо взаимной вырубке. Когда недавно в Афганистане решался вопрос о новом правительстве, то учитывалось даже то, сколько в стране проживает той или иной народности, а значит, в правители надо избирать человека, у которого «процент крови» соответствует национальному составу жителей, иначе — новые распри и войны. И только мы, русские, любим всех подряд, кроме себя. Посмотрите, кто нами правил и правит. Кто эти лившицы, грефы и несть им числа? И почему они должны заботиться о нас, русских ваянях? Спорим: что же мешает продвижению реформ? Называем тысячи причин и забываем о главной — «национальном факторе». (Так же, как, например, США забыли, что кроме богатства и мощного вооружения существует «человеческий фактор», то есть обыкновенный человек-смертник выходит против армады самолетов, танков, боевых орудий и... побеждает!)

А свои пороки и недостатки — они есть у любого народа, только «цивилизованные» нации, которые являются хозяевами своих стран, сор из избы выносить не будут. Да и порок пороку рознь.

Тот же упомянутый мой дед Макар не дурак был выпить, рюмку мимо рта не проносил. И буйным бывал во хмелю, случалось — бил бабушку Федору, всю семью на уши ставил. Зародился человек с таким диким норовом — отчаяюга, пьяница, матерщинник. Моментами на него накатывало такое, что не поддается никакой логике. Будущую жену, бабушку Федору, он первый раз ударил прямо на собственной свадьбе, при гостях. Потом оправдывался: люди, мол, так учили: если невесту ударить на свадьбе — всю жизнь будет бояться мужа и хранить верность. Был случай: загорелась у соседей изба. Все успели

выскочить, только парализованную старуху не смогли вынести. И поздно подошедший дед Макар ринулся в огонь, когда уже начал рушиться потолок. Деда схватили, пытались объяснить безумство его поступка, но он был силен, разбросал мужиков и вынес-таки из огня, сам весь обгоревший, злосчастную старуху, правда, уже задохнувшуюся от дыма, неживую...

Дед воевал в «первую германскую», был награжден тремя Георгиевскими крестами за храбрость. И кто мне может объяснить: положительный или отрицательный человек был мой дед Макар? Да, на деревне он слыл отнюдь не трезвенником. Был безалаберный и непредсказуемый. Но при этом все мужские работы и заботы были исключительно на нем. Он очень многое знал и умел делать. Сам катал валенки (по-нашему — пимы) и починял любую обувь. Сеял и убирал хлебушко, мог изладить деревянную кадку, конную телегу или сани, отбить литовку, сметать стог сена, срубить избу и смастерить простую, но добротную мебель, был заядлым рыбаком и охотником, по известным лишь ему приметам умел определить место для копки колодца — чтобы была в нем не жесткая и не соленая водица. Мог предсказать погоду и подковать лошадь... ну и, само собою, хорошенько гульнуть на празднике, дать на кругу трепака, а то и помахать кулаками в обществе своих же «товаришше».

Всего того, что умел дедушка, не перескажешь — небось, одни эти перечисления читать затруднительно, а как же делать эти работы изо дня в день месяцы и годы — всю жизнь? Какое же нужно терпение и мужество, какое великое трудолюбие!

Конечно, сравнение может показаться и странным, но что может нынешний демократ против русского мужика, которого он затаптывает в грязь? Что могут явлинские, немцовы, всякие там хакамады — что они умеют делать жизненно важного, того самого, ради чего и рождается человек на свет божий? Отними у них возможность разглагольствовать — и они ничто, нуль, обыкновенные пустобрехи, как говаривала бабушка Федора. Меня всегда крайне удивляло: почему именно такие никудышные люди рвутся во власть? Почему им надо обязательно мною управлять и руководить? Из-за денег? Но сейчас в стране такая обстановка, что и без высоких постов можно воровать безнаказанно. Вон абрамовичи и гусинские — чем не пример для подражания?

Ранешнее крестьянское хозяйство было автономным, обособленным от всего мира, словно корабль в бушующем океане. И если хозяин с хозяйкой не знали или не умели хотя бы малой малости — корабль этот не мог удержаться на плаву, его захлестывали житейские волны.

Вот теперь и судите: если крестьянин только и делал, что пил да опохмелялся, лежал на печи да валял дурака, то кто же тогда за него работал?..

Дедушка Макар умер перед самым окончанием войны. Он долго и тяжело болел водянкой, но очень хотел дожить до победы, он всегда верил в нее. Участник «первой германской», дед считал себя знатоком немцев и, бывало, говаривал: «Кишка у них тонка. В первобытность уйдем, землю жрать будем, лопухами срам прикрывать, но не бывать тому, чтобы немец сел на шею русскому...»

Рассказывая о нем, бабушка Федора до конца своей жизни виноватилась, считала себя виновной в его смерти. «В самый страшный голод, уже больной был, с печи не слазил, а последнюю корочку или картошину под подушку

спрячет, потом внучатам отдаст, — говорила она. — А я, грешница, молчала, да еще и думала про себя: мол, он все одно не жилец, а детишек спасать надо. Так и помер от голода...»

И умирал по-христиански, с заботой о родных и близких. И разговоры о смерти были как о чем-то необходимом и обыденном: «Ты уж не оставляй теперь в избе детишек со мною одних, — наказывал бабушке, — помру — перепугаться могут». А своего давнего дружка Тимофея Малыхина просил: «Возьми, Тима, это дело на себя... В случае чего — сам насчет всего этого побеспокойся... Да хоть бы уж здесь повезло мне, случилось-то весной или летом, а то зимою ее, землицу-то, хоть зубами грызи». И Тимофей отвечал как о давно решенном: «Об этом, друг, не тужи. Порядок будет полный...»

* * *

Мой дед по матери, Тихон Игнатьевич Огарков, был полной противоположностью деду Макару. Он не пил, не курил, характером был строг до суровости. А внешне — высок, строен и красив даже в глубокой старости. В Сибирь родители привезли его ребенком с Орловщины, откуда-то из тургеневских мест, и мне всегда казалось, что дед похож на Ивана Сергеевича, каким его изображали на портретах: резкие черты лица, круглая борода и густая сивая грива волос.

Он был немногословен, жил замкнуто один со своей старухой, и сейчас я догадываюсь, что был он глубоко верующим человеком, хотя никогда не выказывал это на людях: я не видел, чтобы он молился или даже перекрестился. Насчет веры тогда было строго: запросто могли ослабить, даже привлечь.

Но как ни стремились власти предержажшие, а вытравить в народе «религиозный дурман» им не удавалось: в деревне соблюдались все церковные праздники и обряды, богохулов втайне презирали. Но странная это была вера: ведь церкви и священников не было, полуграмотные люди толком ничего не знали о самой религии и ее основах. Дед Тихон это знал. К нему приходили спросить, когда какой священный праздник и как его отмечать. С особо доверенными стариками он подолгу беседовал при закрытых дверях, и люди выходили от него просветленными, с надеждою в глазах.

В детстве мне казалось, что Бог постоянно присутствовал в нашей избе. Об этом напоминала почерневшая от времени икона в красном углу горницы, на которой «Бог», с четкими, как у деда Тихона, чертами лица, сурово глядел на меня большими глазами, и от пронизывающего взгляда его невозможно было спрятаться даже в самом дальнем углу. И взрослые тоже постоянно напоминали о Боге. Мама вздыхала со словами: «Царица Небесная, помилуй и спаси наши души!» Бабушка Федора изредка на бегу осеняла себя крестом, но зато постоянно приговаривала: «Без Бога — не до порога! У Бога нас много, за всеми не доглядишь. Бог-то Бог, да сам не будь плох» — и многое еще в том же духе. Зато дед Макар считал себя истовым богомолот. По воскресеньям он «служил», то есть рано утром становился перед иконой на колени, подолгу что-то шептал, крестился и отвешивал земные поклоны. Мы, ребятя, вповалку спавшие на полу на соломе, иногда просыпались и, когда дед от усердия стучался лбом об пол, не могли сдержать душивший нас смех. Он вскакивал на ноги и с

матерками пулял в нас чем попало, орал при этом на всю избу: «И помолиться, природы, не дают! Разрази их геенна огненная!»

В силу такой разности характеров сваты, естественно, по слову бабушки, жили как кошка с собакой... Но иногда немногословного деда Тихона как будто прорывало: он начинал рассказывать... «анекдоты». Я и сейчас помню их с десяток, все они похожи на житейские истории, смешные и грустные, в некоторых проглядывали характеры наших сельчан. Подозреваю, что автором «анекдотов» являлся сам дедушка Тихон.

И еще. Именно он с пронзительной силой преподавал мне урок любви к малой родине. Умирал он глубоким стариком, когда уже не мог сам подняться с постели, привязывал к спинке кровати веревочку и с ее помощью подтягивался и садился. Сидя, держался, как всадник за поводья, и называл себя кавалеристом. Я уже работал тогда в райцентре, изредка навещал деда. И сколько раз я слышал от него одно и то же: «Эх, побывать бы в родном селе на Орловщине, побродить бы по тропинкам детства, искупаться бы в той самой речке...»

— Дедушка, чего там осталось за семьдесят-то лет, — увещевал я старика. — Поди, и самого села давно нет; сам же говорил, что в войну оно под оккупацией было.

— Так-то оно так, — горестно вздыхал дед, — дак хоть бы тем воздухом подышать, а уж потом и помирать можно...

Дед Тихон, как и все родные и близкие, давно и недавно почившие, оставил отпечаток в моей судьбе. Он твердо настоял, чтобы в младенчестве меня обязательно крестили. Батюшку разыскали где-то за тридевять земель и обряд крещения свершали ночью, тайком от недоброго глаза и сглаза.

А еще, умирая, дед завещал мне свое единственное наследство — старинную Библию. Он так и сказал маме (я в то время был далеко): Пётр любит, мол, читать книги, пускай почаще заглядывает и в эту, самую главную на свете книгу...

И сейчас, когда я открываю тяжелый, в деревянных черных корках фолиант с пожелтевшей от времени добротной бумагой, на которой старинной вязью, с атями и ятями, с причудливыми виньетками в начале каждой главы напечатаны вечные истины и откровения Христа и его учеников, я также стараюсь разобрать карандашные пометки на полях, каракули полуграмотного своего деда Тихона и по ним, как по древним письменам наших далеких предков, догадаться, чем жил, во что верил, что ценил и что порицал этот самый обыкновенный человек из сотен миллионов прошедших по земле людей...

* * *

Мой отец, Павел Макарович Дедов, погиб в январе сорок первого года. Он замерз в степи, возвращаясь на лошади из нашей деревни Новоключи в райцентр Купино. Перед этим его «повысили», перевели туда на работу, а семью он перевезти не успел, ждал квартиру. И вот приехал домой на новогодние праздники, а когда возвращался в райцентр, на пути застала его невиданная даже в наших краях степная буря. А в Кулунде такие бури бывают страшные. Случалось, что заметало снегом целые деревни, приземистые

избушки отыскивались потом по дымам из печных труб и откапывались всем миром.

Такая буря-падера и застала отца на шестидесятикилометровом пути. Шквальный ветер со снегом не прекращался двое суток. После стало известно, что только в нашем Купинском районе за это время погибло около двухсот человек. В поселке Липокурово пожилая учительница вышла во двор напоить корову. Колодезь был далеко, за огородом; учительницу нашли весною, в пяти километрах от поселка. С ведрами и коромыслом...

По предположениям, отец, видимо, сбился с пути, а когда отлучился от саней, чтобы поискать дорогу, то в непроглядной пурге потерял свою лошадь. Эти двое буреломных суток он без роздыха ходил по степи, надеясь, видно, набрести на человеческое жильё или хотя бы на какое-нибудь укрытие. Но велика Кулундинская степь, за сотни верст не встретить здесь живую душу, а присесть в снегу для отдыха хотя бы на минуту — смерти подобно, ибо человека мгновенно смаривает мертвецкий сон, и он превращается в сосульку. Отец это знал, два дня и две ночи он ходил в непролазном снегу...

Его нашли на третий день, когда утихла метель. В деревне Копкуль утром вышли на работу доярки. Они торопились на ферму, где бились, исходили диким ревом голодные, не доенные двое суток коровы. Как ни спешили бабы, пробиваясь по пояс в снежных сугробах, а все-таки заметили на озере за селом какое-то странное существо, что копошилось на голом льду, с которого бурей содрало снег.

— Видно, животина какая отбилась от дома, — предположила одна из женщин.

— Смотрите, на дыбы поднимается! — крикнула другая.

— Да ведь человек это, бабоньки, вот те крест!..

Когда подъехали к нему на санях, он уже не пытался подниматься. Он лежал на животе, скользил по льду руками и ногами, оставаясь на месте. И когда положили его в розвальни, продолжал загребать руками, упираться ногами — продолжал ползти.

Этот человек был мой отец...

Очевидцы рассказывали: он лишь на мгновение пришел в сознание, сказал три слова: «Дедов... Новоключи... Купино...» — с этим и отошел.

Врачи и все присутствующие были поражены его силой и волей к жизни. Промокшая от пота, а потом замерзшая на нем одежда ломалась, как стекло. Ноги примерзли к валенкам, и когда их снимали, то пришлось разрезать голенища. Неизвестно, сколько прошел и прополз он верст: новенькие стеганые брюки насквозь были протерты на коленях и между ног. По предположениям врачей, если бы даже отец и выжил, то пришлось бы ампутировать ему отмороженные руки и ноги...

Такие вот мужики пришли в сорок первом под Москву из Сибири и сломали хребет «непобедимой» гитлеровской армии, поставившей на колени всю цивилизованную Европу. А что происходит с нами, их детьми и внуками? Во что превратили нас? Не простят нам нашей слабости предки, да и Бог не простит...

Бабушка Федора с внуками (Петя в центре, рядом с ним – Вера, дочь бабушки Федоры, девятнадцатая по счету. Из 19 бабушкиных детей в живых осталось всего шестеро)



Отец П. Дедова – Павел Макарович (слева) с другом на воинской службе

Мама, Александра Тихоновна Дедова, с детьми Мишей, Володей и Зиной



10-й класс (П. Дедов в нижнем ряду 1-й слева). 1950 г.



Студенческие годы





Учитель Лукошинской средней школы

*Завуч школы в поселке Сибирский
Купинского района*



*Учеба в Центральной комсомольской школе
(Москва, 1961–1962 гг.)*



На военной переподготовке. 1966 г.



Журналист газеты «Советская Сибирь»



В зимнем сосновом бору



П. Дедов за работой



Трудовые будни в газете «Советская Сибирь». 1980 г.

* * *

Мама всю свою долгую жизнь вспоминала, печалилась об отце и всегда плакала, когда слышала песню о замерзающем в степи ямщике:

*А жене скажи, что в степи замерз
И любовь ее я с собой унес...*

Она с малолетства росла сиротой. В девять лет пошла по людям: сначала нанималась нянчить чужих детишек, потом за кусок хлеба и все взрослые работы стала делать. «Маменька родная чему добром научить не успела — чужие люди подзатыльниками да успитками доучивать станут», — говорила она. Однако о детстве своей и юности вспоминала всегда светло и только хорошее. «Самая тяжелая в крестьянстве работа — вязать пшеничные либо ржаные снопы, — рассказывала она. — Ничего на свете муторнее не бывает. От зари и до зари в наклон, комары и оводы жалят, пыли — не продохнешь. К вечеру спинушка-то не разгибается, какая баба послабее, глядишь — ткнулась носом в землю. Морок называется. А мне, бывало, ничо-о, я завсегда с какой-нибудь придумкой. Представляю себе, что не снопы вяжу, а своего ребеночка малого обряжаю. Этак вот на руках потетешкиваю, нарядным кушачком опоясываю, на ножки ставлю — иди гуляй, Ванятко мой ненаглядный! Разговариваю со снопами — и дело спорится. В куклы-то поиграть не довелось...»

Так и прожила всю жизнь «играючи»: одна нас четверых на ноги подняла, всем, кроме сестренки Зины (по уважительной причине), высшее образование дала. Много лет работала в колхозе дояркой, пояркой, свинаркой, даже конюхом — исконно мужское дело.

В войну довелось и сено косить, и хлеб сеять, и землю пахать (приходилось и на себе: бабы гуртом впрягались в плуг). Помню случай: среди зимы рухнула кормилица и поилица, от холодов спасательница наша огромная русская печь. А печников-то во всей округе днем с огнем не сыщешь. Мама и кинулась рыскать по деревне, смотреть да выпытывать, как у людей сложены печи. И сложила-таки свою! После еще людям помогала, у кого приключалась такая же беда. А ведь печь сложить — это... Мастера печного дела большой редкостью были, знаменитая русская печь требовала не только большого умения, но и особой интуиции что ли, граничащей чуть ли не со знахарством и колдовством.

Все умела наша мама, все могла. Не помню, чтобы в детстве износил хоть какую-нибудь магазинную одежонку: штаны, рубаху, даже куртку и шубенку мама шила сама. Не говорю уж о носках, рукавицах, свитерах — это все она вязала «вместо отдыха». Уже в годах была, видела плоховато, подарила мне на сорокалетие прекрасную ондатровую шапку. Я померил, восхитился:

— Подобрала же, будто бы на меня сшита!
— Угадал, — сказала мама, — на тебя и шила...

* * *

Начались перестройки, реформы. Как и большинство сельских жителей, людей практичных, живущих только своим трудом, мама не поняла и не приняла все эти сомнительные, ничем не обоснованные новшества.

— Почему все долдонят, что движемся вперед, а не назад? — пытала она меня. — Уже ведь был у нас капитализм. Не привился, народ сам его отверг — значит, не для нас... Рынок — это кто кого обманет, а мы так не можем. — И сокрушенно вздыхала: — Только вроде стала маленько налаживаться жизнь — опять кому-то не терпится, в заднице свербит. Оно, конечно, ломать — не строить, куда как легко да весело...

Маме, как и всем почти моим предкам, учиться в школе не хватило времени. Она сама научилась читать и писать. Читать любила, а прочитанное воспринимала непосредственно как самую жизнь.

— Как же твой Пушкин, такой умница, а што написал?! — возмущалась она. — «Птичка божия не знает ни заботы, ни труда». Да он что? Ведь на свете нет существа более работающего, чем любая пичуга. Возьмем хотя бы скворца. Прилетит из жарких краев, за тыщи верст, тут бы и отдохнуть, а нет: гнездо надо ладить. А там — яйца класть, птенцов выводить да кормить. А оне страсть как прожорливые! Хайло больше головы, только подавай червячков да мошек. Поднялись на крыло — обучать надо, готовить к осеннему перелету. И снова — тыщи верст, сквозь дожди, ветра, холода... Как же можно так опозорить пташек?

Спорить с мамой бесполезно. Когда у меня стали выходить книжки, она оказалась самым беспощадным критиком.

— Чего ты там опять накуролесил? — строго вопрошала она. — Пишешь про свое детство. Да, было с тобой такое — заснул на пахоте. Но будил-то тебя, хлестал кнутом не бригадир, а сам председатель колхоза!

Я пытался говорить ей о типизации литературного образа, о праве автора на художественный вымысел, — она выслушивала меня внимательно, будто во всем соглашалась, а в конце заключала:

— Так-то оно так, но врать все одно не надо...

Мама умерла на восемьдесят шестом году. Что же изменилось в моей жизни после ее ухода? Внешне, кажется, ничего. Сам уже, слава богу, пожил на свете, внуков давно имею. Но все равно: ощущение такое, будто за спиной, в тылу, образовалась какая-то гнетущая пустота. И при нужде отступать уже будет мне некуда. Некому пожаловаться в горький час, не у кого попросить мудрого совета...

* * *

Тридцать лет назад купили мы дачу. Ну, дачу — может, слишком громко: заняли денег и купили крошечную избу-насыпуху. Зато в каком месте! Караканский бор на правом берегу Обского водохранилища, которое местные жители называют не иначе как морем. Да оно море и есть: противоположный берег — ого! — «в синей дымке тает». Водича, слава богу, до сих пор чистая, чист и празднично торжественен сам медноствольный бор, в который входишь словно в храм — так и хочется снять шапку.

Попервости выйдешь, бывало, весной на крылечко, и слышно, как токуют на вырубках тетерева. Сейчас, правда, многое меняется: новые хозяева дикими

зверьями набросились на самое доступное и дармовое — на природу. Не только качают нефть, газ, загребают уголь и металлы, но и уничтожают русские леса — этот земной зеленый рай. Наступление на природу ведется с какой-то тупой носорожьей яростью: долларовая зеленка затмила все на свете...

Но я не об этом. Я о том, что раз приобрел избенку с участком земли, то землю эту надо вспахать и что-то на ней посеять. Пошел к лесничему просить лошадей.

— Вспаху, конечно. Готовь пятак, — сказал седой мужчина, по-здешнему — Прокопыч.

— Я сам.

— Чего — сам? Ты же горожанин, этот... антиллигент. Сказывали, даже книжки пишешь.

Стал запрягать в плуг лошадей — на бронзовом лице Прокопыча ироническая ухмылка. Та-ак, стал припоминать: сначала хомут, затянуть супонь, потом — седелка, затянуть подпругу, потом... это сколько же лет я не имел дела с лошадьми? Почитай, с самого детства? Но руки все вспомнили! Да-да, не голова, а именно руки — куда продеть супонь, где затянуть гужи, как зауздать лошадь — целая ведь наука...

Ну, господи благослови, взялся за чапыги плуга... И тут, как грибы из-под земли, вокруг моего огорода возникли соседи. Всегда удивляла меня деревня этим своим жгучим любопытством и проворным распространением новостей.

— Бороздо-ой!

Лошади дернули, за плугом побежал черный ручеек. В нос ударил тот первобытный дух потревоженной земли, от которого закружилась голова, и сразу возникла картина босого детства, и защипало в глазах...

А сивки-бурки напрягают спины, низко опустив тяжелые головы, но замечают: старый Сивка (может, и не так звали лошадей, не помню) «затягивает» молодого бестолкового Бурку, толкает его боком, когда тот выступает из борозды, а на поворотах так аж бросается на него с оскаленными зубами, чтобы тот разворачивался где нужно. Молодец, Сивка, помогает, не дает городскому пахарю опозориться!

Заделал я концы вспаханной полоски как положено, вытер рукавом со лба праведный пот. Подошел Прокопыч:

— Ничо не скажу, можешь. Тока язык твой без матов лошадям не шибко понятный...

Скажу честно: скупая похвала эта показалась мне милее, чем хорошая рецензия на мою писанину. Всегда считал: хлебопашество много полезнее любого дела на земле.

Подошел и мой старый приятель писатель Юра Чернов, — тоже здесь, в деревне Ерестной, окопался:

— Ты прямо как будто сошел с картины Репина «Лев Толстой на пашне». Только еще разуться надо было...

* * *

Да, Лев Николаевич матушку-землицу не понаслышке знал. Сам пахал и сеял и труд на земле считал самым заглавным для человека. Крестьянский

корень, он поистине неизживный и могучий. Это и дает мне надежду на то, что, несмотря на ползучую оккупацию, какой подвергается сейчас Россия, мы все-таки выживем и победим.

Это только мне кажется, что давным-давно покинул я сельщину и стал городским человеком. Нет, кровь — она берет свое. Ненароком повеет запахом полыни или наш чалдонский говорок услышу в городском автобусе — и горячо цапнет за сердце неизболевшая тоска-кручина, и раскинутся перед мысленным взором наши скудные степи — суровая и горькая земля моих предков. И дорогие мне люди предстанут передо мной — бесхитростные хлебопашцы и скотоводы, с открытой душою радеющие о ближнем своем и дальнем, ценящие больше всего на свете справедливость и бескорыстие. Потому-то, думаю я, так легко и безнаказанно обманули их и всех нас эти подлые и коварные пустобрехи, которые, как волки в беззащитном сельском стаде, стали рвать направо и налево, никого и ничего не щадя ради наживы.

Но верю я: мы русские, с нами Бог, и мы еще поднимемся. И снова над дьявольскими шабашами возобладают православные молитвы, зазвучат русские песни и наша музыка, вместо скотских совокуплений мертворожденных людей-манекенов с экранов телевизоров светло улыбнутся нам добрые славянские лица, а дети наши вместо похабщины и страшилок будут читать вдохновенные книги наших великих писателей. Верю я в это, верю...

И верят в это все мои родные и близкие, которые еще живы. Они ведь тоже все — крестьянских корней. Средний брат, Михаил Павлович, в детстве хвативший, как говорится, горького до слез, после окончания сельскохозяйственного института работал агрономом в самых глухих деревушках Новосибирской области, однако и на тех скудных нивах упорным трудом завоевал звание заслуженного агронома России, выбился в районные руководители, возглавлял фермерское движение.

И младший брат Владимир не избежал «земного притяжения»: окончил тот же сельхозинститут и честно трудился, пока был жив... А сестричка Зина, прожившая в колхозном селе молодые годы, волею судеб оказалась в небольшом уральском городке и много лет трудилась на заводе. Но, кажется, чуждая ей заводская атмосфера не вытравила живучий крестьянский дух, — осталась верная любовь к этим дачным соткам, сноровистая ухватка деревенской женщины. А еще — случись какое застолье, Зина, прежде первая певунья в нашей деревне, обязательно начнет своим сильным бархатным сопрано:

*Отец мой был природный пахарь,
А я работал вместе с ним.
Отца убили злые чехи,
А я насили убежал...*

А тут еще муж ее, Николай Григорьевич, позади за ее стулом встанет (такая у них манера петь) — да так рванет высочайшим тенором, что мурашки по спине. Доброе получилось сочетание — чалдонка и хохол, и откуда только старинные, давно позабытые песни берут — русские и украинские...

Сын... Старший, Сашенька... И по сей день слышу его детский тонкий голосок:

*На побывку едет
Молодой моляк,
Гуть ево в видаляк,
Ленты а-ка-ляк!*

Этот с рождения был «природный пахарь». Коровка, поросята, куры, огород у бабушки Нюры — его стихия. Мы жили уже в Новосибирске, Саша хорошо окончил школу, была возможность поступить в любой вуз, убеждали его в этом, что греха таить, — но — только сельскохозяйственный институт! Отговаривать его от того, что задумал и решил, вообще было бесполезно.

И после годы безропотно проработал зоотехником в совхозе, в резиновых сапогах чавкал по навозной жиже, принимал трудные роды у коров, «облегчал» сноровистых жеребцов, дорезал длинным ножом попавшую в беду скотинку, которой от травмы все равно грозила гибель.

Был справедлив к людям и за это любим ими. Поэтому, когда в селе Ново-михайловка потребовался участковый милиционер, жители собрались всем миром и единодушно избрали Сашу. И хотя должность эта не выборная, а Саша никогда никакого отношения не имел к милиции, сельские жители упростили и его, и районное начальство. Отказывать Саша не умел.

А тут начались перестройки, реформы, с хрустом надломился хребет великой державы, и Сашина жизнь превратилась в ад. В селе участились повальные пьянки, поножовщина, отовсюду нахлынули переселенцы, бомжи, жулье всех цветов и оттенков. Конечно, можно было бы и при таких обстоятельствах жить поспокойнее, лишь «исполняя служебные обязанности», не более того. Но не таков был Саша. Не пил, не курил, а на жизнь все равно не хватало. Скудную зарплату и ту, бывало, приносил не полностью: кому-то занял, другому, совсем обнищавшему, дал безвозмездно. Жена Лена выговаривала нередко: двое детей, сами с хлеба на воду, случалось, перебивались, а муж полутайком тащит из своего погреба картошку для беженцев.

— Как же так, Саша?

— Прости, Леноч. Не могу глядеть в глаза голодным детям...

(Вот он, русский менталитет в чистом виде. Часто слышу: русскому человеку разбогатеть недостает ума и трудолюбия. Ложь! Смогут ли жить богато такие, как Саша, в нашей нищей стране?! Конечно, и русские бывают разные, но в основной массе...)

День и ночь возился с алкашами, с покалеченными в драках, с бездомными детьми. И ему ли с его ранимым сердцем, да на такой работе?! Но никто и никогда не слышал от него ни единой жалобы. В своем селе он знал все и про всех. Жил горестями и страданиями односельчан, поскольку никаких радостей у них почти не стало.

В споре со мною, бывало, ставил меня в тупик знанием глубинной народной жизни:

— Говоришь, надо нам, русским, объединяться, чтобы защитить себя, сохранить свою нацию, — рассуждал Саша. — Но это легко делать, к примеру, грузинам, евреям, тем же чеченцам. А нам, русским... Вот стоим мы сейчас с тобой, ждем открытия магазина. И другие толпятся и ждут: вон белорус, мой сосед, этот, чернявый, татарин, их много в нашей деревне, а вон топает мой друг Саша Рубан — украинец. Ну и кому с кем объединяться?..

Подумать, так и верно: не зная тонкостей взаимоотношений между людьми, мы часто ломим напрямую, а потом хватаемся за голову. И все равно я настаиваю на своем: объединяться-то как-то надо, иначе нам хана...

* * *

Саша погиб давно. Смерть случилась такая же нелепая и страшная, как у его деда, Павла Макаровича: при исполнении служебных обязанностей утонул в весенней реке.

У меня не хватает знаний и слов, чтобы объяснить происшедшее с моим отцом и моим сыном. Потому снова обращаюсь за помощью к великому мудрецу земли русской Льву Толстому. Когда умер его самый любимый сын Ванечка, которого все окружающие считали ангельски чистым, чуть ли не святым за его жертвенную любовь к людям, честность и доброту, Толстой записал в своем дневнике: «Смерть детей с объективной точки зрения: природа пробует давать лучших и, видя, что мир еще не готов для них, берет их назад. Но пробовать она должна, чтобы идти вперед. Это запрос. Как ласточки, прилетевшие слишком рано, замерзают. Но им все-таки надо прилетать...»

Да, прилетать-приходить таким светлым людям в наш несовершенный мир необходимо, иначе совсем одичаем, обростем звериной шерстью и встанем на четвереньки...

Высокий, стройный, всегда собранный и подтянутый, Саша внешне здорово напоминал деда Тихона. Так же глубоко, но скрытно относился к религии и так же был справедлив и строг к людям. Но под внешней суровостью скрывалась в нем беззащитная и светлая душа поэта. Он писал стихи, перекладывал их на свою же музыку и сам исполнял эти песни под гитару. После него остались магнитофонные записи — много вариантов и наигрышей: он всегда мучительно искал нужное слово и мелодию.

Поразительно: именно песни, будто слетевшие с горних высот, с удивительной точностью предсказали ему время его ухода. За пять лет до гибели он пел:

Жить впереди еще много лет —

Может быть, пять, а может быть — восемь...

Мужчина в расцвете молодости и недюжинных сил вдруг жаловался самому себе: «Вижу я в моих горьких снах...» или «И уж скоро, наверно, мой поезд прервет свой след, знаю я».

И перед роковой датой вырвалось из предчувствующего сердца:

Ты погоди, рассветный час,

Боже, прошу, Боже, молю...



Ольга и Пётр Дедовы с сыном Сашей



Сыновья писателя: Александр (справа) и Сергей



Александр — сельский участковый



Саша и его жена Лена — прекрасные исполнители русских народных песен и романсов — на сцене Оперного театра, 1986 г.



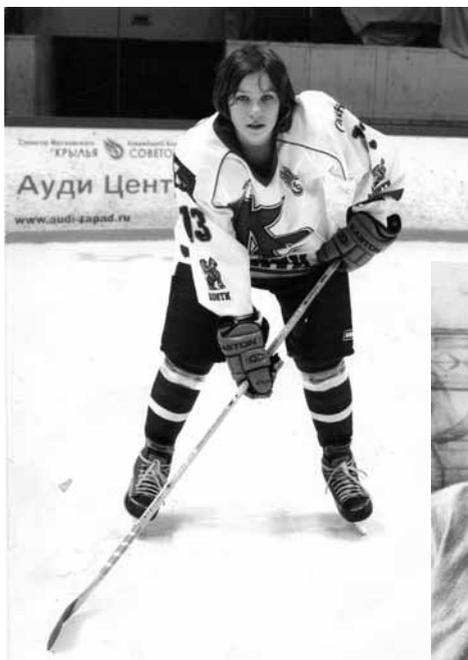
С мамой Александрой Тихоновной, женой и сыном Сергеем



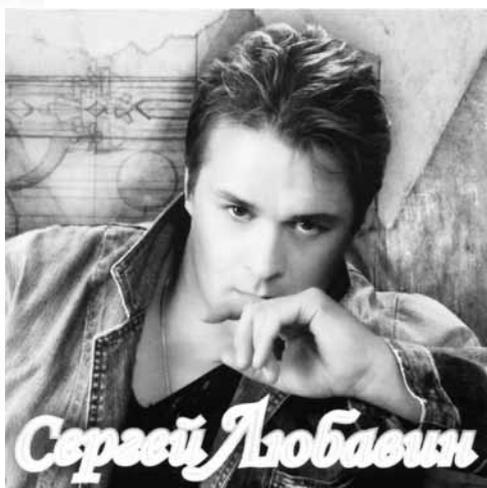
Сергей с женой Леной



Дедовы в музее г. Купино



Сын Сергея Иван



Сергей Дедов (Любавин – сценический псевдоним), поэт, певец и композитор



С внучками Аней и Катей, дочерьми Александра



П. Дедов с женой, братом Михаилом и его женой Галиной



На даче



Новосибирские писатели (слева направо) В. Балачан, П. Дедов, В. Сапожников



На Шукшинских чтениях с Ю. Черновым. 1985 г.



На открытии библиотеки имени П. Дедова в с. Новоключи Купинского района с жителями села. 17 ноября 2004 г.

Он погиб на рассвете... Остались две дочери — Аня и Катя, теперь уже выпускницы педуниверситета. Осталась жена Лена, с которой об руку прошел свой короткий песенный путь...

Осталась память и безысходная тоска — теперь уж до кончины...

* * *

Младший сын Сергей, испытывая на себе благотворное влияние брата, пошел по его стопам, также закончил сельхозинститут, а после работал зоотехником в знаменитом на всю Россию колхозе «Большевик». Но по характеру это уже совсем другой человек: лидер, преуспевающий спортсмен и, как всякая увлекающаяся натура, немного авантюрист.

Вот коротко этапы его «крестного пути». Из зоотехников (приходилось верхом на лошадке и коров пасти, когда скотники «гуляли»), так вот, из «коровьего царства» рванул напрямик в редакторы! Да-да, не литсотрудником каким-то, а произвел сам себя в редакторы и издатели молодежной газеты с весьма оригинальным названием «Искра». Думал, из нее, как из «Искры» ленинской, возгорится пламя. Не возгорелось. Напротив, издатель, редактор, репортер, подписывавший свои бессмертные опусы псевдонимом Эмиль Блондэ, сам же распространитель газеты — всё в одном лице — не возгорелся, а... прогорел. Зато обрел кое-какие журналистские навыки. Взяли работать в областную газету «Молодость Сибири». Оттуда — уж не знаю, за какие такие заслуги — направили учиться в Москву, в Международный институт молодежи на факультет журналистики. Мы с женой гадали: наш сын, не учась, уже занимал редакторское кресло, а что же из него выйдет, если поучится? Ничего не вышло. Причина? Позвала за собою песня. Параллельно занимался в известном институте Гнесиных. Теперь — поет. Так же, как и Саша, сам сочиняет слова и музыку.

Чего достиг? Выпустил девять авторских дисков, выступал в престижных московских и питерских залах, исколесил с концертами всю Россию, выступал и в США. Пользуется популярностью среди молодежи и не только.

Известен под псевдонимом Сергей Любавин. Москва, как известно, слезам не верит — денежку давай... Мне даже кажется, что среди разнообразных мафий существует и эстрадная мафия, этакая круговая порука, куда чужакам дорога закрыта. Иначе чем же объяснить, что повсюду — одни и те же давно осточертевшие голоса и лица?..

Особенно тяжело тем, кто, вопреки моде и направлению, пытается в песне сказать хоть какую-то правду о своем народе:

*Здесь свет в лампадах теплится,
Здесь все на бабах держится,
Здесь на сто верст одна изба... светится.*

Такое, мягко говоря, пока что у нас не приветствуется. Но ничего. У Сережи прочная крестьянская основа — надежная опора — семья: помогающая и верящая в него жена Лена, уже взрослый сын Ваня.

А Сергей, может, и пытался бессознательно порвать с «крестьянским сословием», ан нет, оно не отпускает:

*Я подозвал коня,
Конь мой узнал меня...*

И слава богу, что пока узнаёт!..

* * *

Годы — за семьдесят, время и мне подводить кое-какие итоги. Хотя бы творческие, поскольку давно литература стала главным делом моей жизни. Написал около двух десятков книг. Основная тема — военное и послевоенное деревенское детство, отрочество, юность. Писал и о Гражданской войне в Сибири, и книжки для детей о природе, но ранние годы в деревне оставили в моей душе самый глубокий и неизгладимый след. С горечью можно сказать, что мне в этом смысле «повезло»: с малых лет постигал я широту духа, бескорыстие, великое терпение и трудолюбие русского крестьянина, его сострадание к ближнему и неближнему — словом, все святые заветы нашей христианской религии, вошедшие в плоть и кровь моего народа.

И это отнюдь не громкие слова: многое раскрылось в переломный, судьбоносный период нашей истории, связанный со смертельной битвой с фашизмом, — многое из того, что ранее было скрыто даже от самих себя. Считается, что мы, сибиряки, и горюшка не знали, потому что жили далеко от войны. Неправда! Когда она началась, ее осколки стали к нам долетать за тысячи верст в виде страшных похоронок. Эти осколки не ведали промаха: они ранили прямо в сердце.

Долгими зимними ночами слышал я под окнами жуткий вой голодных волков, которые теперь, без мужиков, обнаглели до того, что ночами заходили в деревню и резали не только скот, но и воровали собак.

Видел, как пахали огороды наши бабы, гуртом впрягшись в конский плуг, и как прямо в борозде родила одна наша родственница, а бабы смеялись и шутили: вот уж точно вырастет «природный пахарь», весь в пыли обвалялся, пестренький стал, как Курочка Ряба...

Помогая дяде Лёше в кузнице (я уже мог качать меха, раздувая пламя в горниле), видел, какие дядя чудеса творил с железом. Из бесформенного куска, раскалив его до стеклянной прозрачности, он мог выковать и лемех для плуга, и нож, и подкову, и замысловатую штуку — капкан для ловли волков. А дед Тихон еще большие чудеса умел делать из дерева. Из обыкновенной плашки вырезал цветы, птиц и зверей, а из березового сутунка выстрогал огромного старика-лесовика, да такого живого, что им пугали маленьких детишек.

После войны деревня в буквальном смысле стала возрождаться из небытия. Мои земляки могли в две-три ночи сделать, как в той сказке, ну, не палаты каменные, а хотя бы нормальную жилую избу. Днем все поголовно работали в колхозе, а ночами брались за топоры и фуганки даже женщины, подростки, совсем уж старые старики.

Помню старика Нестера Величко, которого все называли Мичуриным и который неимоверным трудом и изобретательностью победил-таки суровую сибирскую стихию и стал выращивать на своем огороде прекрасный виноград.

Всё умели и всё могли мои безграмотные «темные» земляки. Тут я и подошел к вопросу — как и почему стал писать, не имея ни малейшего понятия о писательской профессии. Больше того, у меня не было не только какого-либо «творческого окружения», но в детстве я не имел возможности читать книги, хотя научился этому лет с пяти. А книг просто не было. В войну их растащили из нашей сельской библиотеки. Тетрадей не было, и школьники писали на страницах книг — на полях и между строк.



Так что, когда мне в руки случайно попала повесть «Тарас Бульба», я перечитывал ее десятки раз и выучил всю наизусть. И до сих пор помню отдельные главы. И только сильно меня тогда смущало то обстоятельство, что Гоголь, на портрете обыкновенный человек, здорово похожий на нашего деревенского пустобреха Копку Дюмина, — как это он сумел подслушать все разговоры запорожских казаков и разных там поляков, больше того — прознать, о чем они думают?

Этого я долго не мог понять, а когда стал взрослым и уразумел, то и самого меня неудержимо потянуло рассказать обо всем, что знал и видел, — как бы исповедоваться, снять с души накопленный груз. Писал, как и большинство начинающих, сначала стихи, но скоро перешел на прозу: в стихах стало тесно. И вот, когда стал глубже вдумываться в слова, пришло озарение: какое же это великое счастье, что Бог наградил меня именно русским языком! И как жаль, что сейчас многие слова уходят из нашей речи, умирают и заменяются безликими понятиями, а то и иностранной тарабарщиной.

Моя бабушка Федора, например, вместо грубого слова «лопатки» (что у человека на спине) говорила — «крыльца». Какое емкое и образное название — ведь действительно они похожи на недоразвитые крылья за спиной! Или другой пример. Пришел куда-нибудь в садик Дед Мороз с гостинцами, и его с громкими криками окружили дети. Так вот, эту сцену бабушка определила бы одним словом — «ограчили», то есть налетели с громким граем — как грачи. Или слово «окрылся». Попробуйте подыскать более точное определение человеку, который набросился на вас с отвратительной злобной бранью...

Влюбленный в родную речь, я всю сознательную жизнь собираю русские пословицы, поговорки, меткие выражения, присловья, частушки, присказки, былички, побасенки, притчи, легенды, народные песни — все, что на протяжении веков породил наш самобытный и удивительно талантливый народ. И все это — главное подспорье в моей работе. К примеру, в трилогии «Светозары» много пословиц и поговорок, но среди них почти нет таких, которые уже кем-то найдены и включены в фольклорные сборники...

Вот так, не думая не гадая, а как-то само собою получилось, что стал я писателем. Хотя, признаться откровенно, когда читаю того же Толстого, Шолохова, Бунина, то невольно начинает грызть сомнение: какие мы, нынешние, против тех писатели? Никогда не перечитываю свои книжки, чтобы не расстраиваться, не травить понапрасну душу: ах, мог бы лучше, да поторопился, да не хватило воображения, да не нашел нужные слова. И это вечное недовольство собой, конечно, угнетает. Не окупается редкими минутами счастливого вдохновения. Тем и тяжела писательская доля.

Хотя жаловаться на судьбу мне грех. Не был обойден вниманием критики, много получал и сейчас получаю читательских писем, печатался не только в Сибири и в Москве, но и за рубежом, был лауреатом престижной Всесоюзной литературной премии...

А сейчас... Что сейчас? Писать книги «рыночные», скользкие и внутренне, и внешне: о разврате, убийствах, грабежах, — воротит с души, не могу. Ломать себя, подделываться под западную цивилизацию с ее культурой «ниже пояса» — не буду.

Остаюсь русским...

Но заканчивать эти заметки на такой грустной ноте — не хочется. Верю: будет и на нашей улице праздник. А потому — не удержусь, приведу самый конец своей главной книги «Светозары»:

«...А степь разметнулась вольной гладью во всей своей суровой дикой красоте. Я ослабил поводья, тронул стремями, и кауряя лошадка взяла крупной рысью, потом перешла в галоп, понесла. Казалось, на всю степь загремели копыта, дальними звонами в поднебесье отозвалось эхо, и ветер завыл, засвистел в ушах разбойным посвистом, а кровь бросилась в голову мне и сердце вскипело отгаюю... Может, то проснулась кровь моих предков — пахарей-первопроходцев, отчаянных охотников да полудиких степных ямщиков.

Ах, широка, хороша ты, степь!..»



БАБУШКИНЫ СКАЗКИ

Рассказ

Солнце садилось. Тайга наполовину была уже затоплена зелеными сумерками.

Лёшка бежал по тропинке, перепрыгивая через выпирающие из земли узловатые корни, обглоданные коваными сапогами геологов. Бездумно и легко было на душе, такой понятной и приветливой казалась тайга, будто прожил он здесь всю жизнь. Чернолесье, как первой сединою, прошито серебристыми стволами березок, а у подножья могучих сосен танцуют крохотные балерины елочки. Вон в окружении молоденьких берез огромный мускулистый кедр широко растопырил свои корявые лапищи — словно пьяный мужик ворвался в девичий хоровод.

С кедра на тропинку прыгнул бурундучок, весело свистнул и частыми скачками помчался вперед, мелькая полосатой спинкой. Лёшка понял это как вызов на соревнование и припустил вслед за ним. А когда уже было догнал, бурундук испуганно запищал и метнулся на дерево.

— Струсил, хвастунишка! — захохотал Лёшка.

А зверек словно понял его, стрельнул на ветку соседнего дерева, оттуда — на другую. Соревнование продолжалось, Лёшка, задрал голову, бежал за бурундуком, пока не запнулся о корягу и не полетел кубарем. Ему показалось, что зверек тоненько захихикал вверх.

Лёшка поднялся. Правое колено мозжило от ушиба. Бурундук как ни в чем не бывало сидел на суку, умывался по-кошачьи передними лапками и насмешливо поглядывал вниз.

— У, пижон! — заорал Лёшка и швырнул словую шишку. Потом огляделся по сторонам. Тропинки не было видно.

Солнце село, и темнота быстро сгущалась — дальние стволы сливались уже в сплошную черную стену. Тайга замерла, насторожилась как-то, мертвенный шорох палых листьев под ногами, казалось, слышался за километр.

Лёшка сразу понял, что тропинку теперь не найти, и пошел наугад, в ту сторону, где розовело еще меж деревьями небо. Так учил начальник отряда дядя Никифор: заблудился в тайге — найди ориентир, будь то солнце, звезды или дальний шум речного переката, и шагай прямо, в одну сторону — тогда

куда-нибудь придешь. Иначе будешь топтаться на месте, кружить по часовой стрелке.

Лёшка не успел еще испугаться, ему казалось, что идет он правильно: километра два в сторону заката — и покажутся рубленые домики поселка. Там нагрузит свой рюкзак пахучими буханками хлеба и как раз к ужину поспеет в лагерь геологов.

Чудак он, этот дядя Никифор! Когда провозжал за хлебом, как маленькому, раз десять повторил, чтобы с тропинки ни шагу не сворачивал: заблудишься, мол. А где тут блудить, когда от лагеря до поселка всего четыре километра?

Правда, в настоящую тайгу Лёшка попал впервые. Закончил нынче десятилетку, сдал вступительные в институт и напросился в геологический отряд к отцову брату, дяде Никифору, простым рабочим: отдохнуть умственно, развеяться перед началом занятий.

Тайга Лёшку очаровала. Это вам не пригородные боры, куда выезжал он с товарищами на выходные и где некуда было ступить от битого бутылочного стекла, а среди ободранных берез верещали транзисторы, будто люди, с рождения привыкшие к городскому шуму, боялись тишины и живых звуков леса.

А с какими парнями познакомился Лёшка в отряде! При первой встрече один из них, Иван Кречет, презрительно смерил его с ног до головы — отутюженного, в белой курточке на молнии, — но уважительно потрогал новенький рюкзачок, из которого палкой торчал зачехленный предмет.

— Молодец, — сказал он, — ружье в тайге сгодится.

Лёшка покраснел до ушей: из рюкзака выпирал гриф зачехленной гитары.

После они подружились. Иван, оказалось, прекрасно пел под гитару, а Лёшка сравнивал геологов со своими городскими «корешами», озабоченными тем, как урвать с родителей денег да где-нибудь достать сверхмодные джинсы с блестящими заклепками, чтобы щегольнуть перед подругами, которые тоже носят по последней моде брюки с раструбами метровой ширины.

Конечно, мерить одной меркой всех нельзя, может, из тех парней и девчат выйдут настоящие люди, да только правду надо признать: нечем заниматься городской молодежи, особенно в летние отпуска и каникулы, маются люди, полные сил и здоровья, от дурманящего безделья. До блеска натирают спинами стены подъездов и лестничных площадок.

Лёшка только сейчас, в тайге, понял, что такое настоящая работа, а значит, и настоящая жизнь. А время было прекрасное, стоял конец августа — в лес незаметно пробиралась ласковая осень: исчезал гнус, жара сменялась недокучливой теплынью, а как свежо было ночами и как сладко спалось после тяжелого рабочего дня под прохладным пологом палатки!

Идти становилось все труднее. Лёшка отмахал уже километров пять, а поселка не было и в помине. И только теперь он понял окончательно, что заблудился. Но это его не расстроило: переночевать одному в тайге — романтика! Будет о чем рассказать городским «корешам». Да на счастье медведь бы еще встретился. Забраться на сосну и пулять в него шишками. Вот бы позлился косолапый! А утром с верхотуры и поселок будет видно, и лагерь. Крикнуть, позвать на помощь. Прибегут ребята с ружьями. Вот потеха-то начнется! Медведя, конечно, уложат, и тут он, Лёшка, предъявит свои требования: шкуру,

ребятки, мне, это я продержал около себя зверя всю ночь, не я — не видеть бы вам его как собственных ушей...

Лёшка опустил на поваленное дерево отдохнуть. Трухлявый ствол с хрустом просел под ним, как диван с испорченными пружинами. Запахло грибной прелью. И такая была тишина, будто попал он в глубокую яму. Это впечатление усиливал синеватый рассеянный свет, что струился со звездного неба. И как преобразилась тайга в этом неверном свете! В вышине зыбко маячили вершины сосен, похожие на церковные маковки с крестами. А здесь, внизу, в таинственном полумраке, бесформенными чудовищами громоздились коряги, пни, огромные выворотни — как в музее, тесно набитом чучелами и скелетами всяких там динозавров, дикобразов, мамонтов...

Что-то тревожное шевельнулось в Лёшкиной душе, вспомнились почему-то бабушкины сказки, которые слышал он в детстве. Бабушка Василиса родом была с таежного севера, там прожила она всю жизнь, а когда стала совсем старой и одинокой, Лёшкин отец забрал ее в город. Бабушка давно умерла, но Лёшка помнит ее хорошо. Чудная была старуха! Еле ноги волочила, а лежать никак не соглашалась: на том свете, говорила, лежать надоест. День-деньской ползала по квартире — подметала, убирала, а когда нечего становилось делать — мыла цементный пол, протирала перила на лестничной площадке. Как огня боялась телефона, а когда начиналась гроза, наглухо закрывала окна и балкон, а сама становилась на колени и крестилась на портрет Карла Маркса. И сказки рассказывала чудные, совсем не такие, как в книжках. Никаких в ее сказках не было царевичей и царевен, а были медведи, волки, лешие, старики-лесовики — словом, всякая чистая и нечистая лесная живность, которая или прекрасно уживалась с людьми, или вредила им, но все происходило безо всяких чудес, без ковров-самолетов и скатертей-самобранок, а так, как в обыденной жизни: «Нанялся, паря, ведмедь к мужику телят пасти. Полушка за телушку. А мужик тем и хитрый был, что долги платить не шибко-то любил. А надо: срок пришел, ведмедь наседает. И че же удумал хитрый мужик? “Ты, — grit, — не взыщи, Косолапый, растерял я все свои деньги. Как скрозь землю провалились!” А ведмедь — не будь дураком: телят всех подрал, а хвосты-то ихние в землю воткнул. Приходит хитрый мужик: “Иде мои телята?” — “Дак загнал вон в землю, — это ведмедь ему, — деньги твои искать. Сам сказал: как скрозь землю провалились... Вишь, стараются — одне хвосты торчат...”»

Голос у бабушки был певучий, убаюкивающий, и сейчас Лёшка так явственно услышал этот голос, что, привалившись спиной к сухостойной березе, стал задремывать, как в детстве. Но почувствовал вдруг: на него смотрит кто-то сверху. Лёшка осторожно запрокинул голову, но ничего не различил в черной сетке голых сучьев. Только серебристые звезды запутались в них, как рыбная мелочь в неводе. Да нет, не звезды это, а чьи-то глаза неотрывно за ним наблюдают. Ах вот это кто! Старый знакомец пожаловал! Бурундук сидит на ветке, умывается по-кошачьи передними лапками и насмешливо поглядывает на Лёшку. «Ты чего тут делаешь?» — спрашивает Лёшка. «А вот и не догонишь, паря!» — певучим, как у бабушки Василисы, голосом отвечает бурундучок. Лёшка швыряет в него еловой шишкой, но зверек, как вратарь на мяч, кидается на нее и ловит. «Пи-пи-пи-пи!» — тоненько хихикает он и

стоит подбоченясь, распахнув свой полосатый арестантский халатик. И видит Лёшка, что это уже не бурундук, а крохотный старичок-лесовичок — с бородкой из зеленого мха, а на голове рдеет в солнечных лучах шляпка мухомора. Старичок кидает Лёшкину шишку — прямо по макушке попал! Лёшка вскакивает, хватается за голову. Макушке больно, а кругом снова темнота, только небо дымится мутным светом.

Лёшка кидается напролом, ломится сквозь чащобу, обдирая руки и лицо. Сзади треск, топот, кто-то тяжело пыхтит над самой головой и вот-вот коснется занемевшей от ужаса спины. Лёшка кричит и не слышит своего голоса. Он мчится что есть духу, козленком перемахивает через колодины и жалобно, по-козлиному верещит.

Вылетел на просеку — топот сзади затих. Затаив дыхание оглянулся. Кругом пусто: ни шороха, ни движения. Слышно, как клацают собственные зубы. «Во дурак, — сказал себе Лёшка. — И приснится же такое... Правду бабушка говаривала: пуганая ворона и куста боится...»

Слева хрустнула ветка, кто-то сипло закашлял и вроде бы застонал, а Лёшку словно ледяною водой обдало. Он прынул в сторону и снова понесся сломя голову вдоль просеки. Ветер гукал в ушах, пустой рюкзак шлепал по мокрой спине, а по сторонам, слева и справа, кто-то продирался в черных чащобах, трещал валежником, не отставая ни на шаг.

Лёшка попал ногою в колдобину и полетел через голову. Хотел вскочить, но ноги стали деревянными, словно ходули. Он на четвереньках отполз под куст и, съезжившись, натянув куртку на голову, стал покорно ждать своей участи...

Он, кажется, забылся в тяжелом беспмятном полусне, потому что, когда открыл голову, было совсем светло, тайга звенела и гомонила птичьими головами, меж деревьев протянулись дымчатые полосы от лучей восходящего солнца. Он с трудом поднялся на ноги, огляделся. И только теперь услышал стук топора, почуял смолистый запах дыма. Ни о чем не думая, спотыкаясь, прошел метров триста — и перед ним расступились деревья, открылась большая поляна на берегу реки. Посреди поляны стояли палатки и жарко горел костер. Услышав шаги, от костра поднялся человек. Это был дядя Никифор. Он пошел Лёшке навстречу. Лицо его было бледное и за одну ночь обросло черной щетиной.

К Лёшке полностью вернулось сознание. И с пронзительной ясностью вдруг увиделось и запечатлелось это сияющее утро, клубы дыма над костром, идущий навстречу сутулый человек, ласточки-береговушки, которые с громким писком носились над рекой, и когда чиркали крыльями по воде, то на мгновение вспыхивали маленькие радуги. И даже одинокая ромашка увиделась под сосной. На нее с хвоинок стекали капли росы, и она, как живая, кивала и кивала белой головкой.

И еще в самую глубину Лёшкиной души — навсегда, навечно — запала дикая, жутковатая красота ночной тайги и все пережитое нынешней ночью, после которой он почувствовал себя совсем другим человеком. Может быть, взрослость пришла, распрощался с детством?

Щеки горячо защекотало, и Лёшка отвернулся, чтобы дядя Никифор не увидел его слез...

И ПАДАЮТ ТРАВЫ

...оказывается, не проза, а именно поэзия была мне всегда ближе, что называется, под рукой и позволяла выплеснуть немедленно то, что накипело на сердце, что увиделось в жизни, что обрадовало или огорчило...

Думается, трудно прозаику, не пишущему стихи. Поэзия вдохновляет, держит на той высоте, где воздух чист и откуда далеко видно окрест. Она облагораживает чувства, делает кратким и образным язык...

П. Дедов

* * *

Хлещет солнце без промаха,
Цельный год длится день.
Отцветает черемуха,
Зацветает сирень.

Мнится дикое, древнее
В белой мгле по ночам...
А над нашей деревней
Петухи не кричат.

Веет скорбью великою
От родимых картин.
Заросли повиликою
Все дороги-пути...

* * *

В осенней роще —
Тихо, пусто.
Листвой дорожки замело.
Я весь проникнут светлой грустью,
Как роща — солнечным теплом.

Нельзя без грусти песне русской,
Без дерзкой удали — нельзя.
Бреду один тропую узкой.

В осеннем поле тихо, пусто.
Вдали напев, родной
До слез.
Нельзя без грусти песне русской,
Как русской роще —
Без берез.

* * *

Устал я. Свалился под скирдою сена,
Вдыхая прохладу и запах родной...
И перед глазами поплыли мгновенно
Цветущие травы волна за волной.

Так, значит, напрасно искал я
по свету
Какого-то счастья, какой-то судьбы?
Тогда я не думал, что радости нету
Без родины милой, без трудной
борьбы.

О нет, мне не надо ни денег,
ни славы,
А в жизни иной не ищу я красы...
И падают, падают, падают травы
Под взмахом широким мужицкой
косы.

* * *

Выйдешь на крылечко,
 А кругом — весна.
 За деревней речка
 Тихая Сосна.
 Из-за ив глядится
 В речку ту луна,
 Будто бы напиток
 Вздумала она.
 Резкий запах мяты,
 Вечер голубой.
 Помнишь, здесь когда-то
 Жили мы с тобой?
 В глубине России
 Жили под луной...
 Может, в этом сила
 Мудрости земной?
 Я хочу, чтоб вечно
 Не ушла из сна
 Ты и наша речка
 Тихая Сосна.

14 июня 1962 г.

* * *

Недавно небо было голубое,
 А к вечеру тревожным стало, жгучим...
 Как раненые войны с поля боя,
 В тряпье кровавом волокутся тучи.

Грачи кричат над церковью пустынной,
 Притихла, словно вымерла, деревня...
 И оживают старые былинны:
 Я вижу Русь в ее уборе древнем.

1958 г.

* * *

Грустно лепечут деревья,
 Будто о чем вспоминая...
 Как запустела деревня!
 Глушь — без конца и без края.

Звонкие струны гитары
 Здесь на заре не разбудят.
 Где ж вы, влюбленные пары?
 Где ж вы, веселые люди?

Больно мне этому верить:
 Хмурые, злобные лица,
 Накрест забитые двери,
 Окон пустые глазницы...

* * *

Запустело, заглохло село...
 Все домишки до крыш замело.
 С неба холодно смотрит луна,
 А кругом — тишина, тишина...

Лишь потемки спускаются с крыш,
 Над селом непробудная тишь.
 Выйди в поле и волком завой —
 Не откликнется ль голос живой?

Но кругом тишина, тишина...
 Только в небе холодном луна...
 И ни звука, ни огонька,
 Лишь шуршит тараканья тоска...
 1956 г.



Рисунки и стихи П. Дедова



Помнишь, мама, холодные росы?
Ты, осеннюю стужу кляня,
Каждый вечер голодным и босым
Провожала в ночное меня.



Жеребец косит глазом кровавым,
Угрожая погибелью мне...
Помню детства лихую забаву:
Объезжать полудиких коней.
О безумие бешеных скачек,
Ветер, бьющий наотмашь в лицо,
И бунтарской кровью горячей
Пробужденная удаль отцов!..

(Из стихотворения «Детство»)



... Так и стоит и дремлет
Старый дом в тишине...
И пролетает время
Спутником в вышине...

(Из стихотворения
«Дом от села отвернулся...»)



В белую полоску вечер синий...
Звонкий, рассыпной, как детский смех,
Первый снег кружится над Россией,
Радостный, пушистый первый снег!..

(Из стихотворения «Первый снег»)



* * *

Что говорить — весна прекрасна,
Но и сибирская зима
С ее погодой тихой, ясной
В поэму просится сама.

Березы стынут в снежной дреме...
Мир сказок вновь в душе воскрес.
Я по следам своей поэмы
Бегу на лыжах в дальний лес.

* * *

Грустя об ушедшем лете,
Бледнеет небесная синь.
К земле пригибает ветер
Яркое пламя осин.

В речках чернеют воды,
Поле отходит ко сну...
В зелень озимых всходов
Прячет земля весну...

* * *

Прошел июльский ливень,
И солнце вышло снова.
И я совсем счастливый,
Ищу для песни слова.
До пояса мне травы,
Иду, росой измочен,
А где-то за дубравой
Устало гром рокочет.

И тучи будто скалы,
Грозящие обвалом.

* * *

Когда-нибудь в один обычный день
Я упаду на землю бездыханный,
Береза на меня накинёт тень,
Как саван из живого колыханья.
Я так и представляю смерть:
Иду,
На край родной не в силах

наглядеться,

И разорвется прямо на ходу
Любовью переполненное сердце.

6 декабря 1961 г.

* * *

Глухари в любовной неге стонут,
Насмерть бьются за мужскую честь.
Есть ли у любви свои законы?
Кто их знает, может быть, и есть.
Лишь одно доподлинно известно —
Что зверье (и люди в том числе)
За любовь всегда дерется честно,
Как за право жизни на земле.

Июнь 1957 г.



Ливень

Теплый ливень прошел полосой,
Между туч ярко вспыхнула просинь...
Ветер треплет пеленки да простынь
Вместо алых твоих парусов.

Вот и вечер, грустью томящийся,
Тихий сумрак упал в леса.
И летят облака горящие —
Твои алые паруса.

А потом, когда будет поздно,
То на смену погасшей заре
В небе вызреют яркие звезды
И осыплются, перезрев.

Вышло все до обидного просто —
Все костры заменил очаг...
Теплый ливень прошел.
И простынь
Повисает, как белый флаг.

* * *

Еще снег по колкам не растаял,
Еще в балках синяя вода, —
А уже чернильная, густая
Резанула поле борозда.

И уже тот молодой и древний
Запах черноземной полосы
Ветерком наносит на деревню
В зоревые звонкие часы.

Журавли перечеркнули небо,
Оглашая радостью поля...
Пахнет свежеспеченным хлебом
К жизни возвращенная земля.

ПЕСНЯ НАД ПЛЕСАМИ

Рассказ

1

Такое довелось мне увидеть впервые. С вечера пошел густой снег, он в косую линейку заштриховал синюю даль. Небо стало каким-то тревожным: слишком уж хмурыми и темными были тучи.

Я решил лечь пораньше, надеясь, что к утру снег перестанет и можно будет поохотиться на уток. Глинобитную печурку затапливать не стал, и в избушке было холодно, пахло плесенью. Но я сильно устал, добираясь сюда, на берег Чанов, и потому сразу же уснул, угревшись под полушубком.

Проснулся среди ночи от грохота. Сначала подумалось, что совсем низко над избушкой пролетел самолет-«кукурузник». Эти самолеты были похожи на огромных зеленых стрекоз и изредка пролетали низко над нашей деревней. Но вслед за грохотом так ярко полыхнуло снаружи, что через единственное оконце избушки осветились ее серые пластяные стены. А когда я, торопливо одевшись, вышел за порог, снова оглушительно рвануло, отозвалось нервной дрожью в стылой земле.

Был снегопад, белым-бело, и в этой молочной мути одна за другой почти непрерывно вспыхивали молнии. Огромные огненные столбы, словно взрывы, взметывались от земли в черное небо, и голубое слепящее зарево на мгновение охватывало все вокруг.

Сначала я даже не понял, что это настоящая гроза: так странно было видеть молнии и слышать раскаты грома на по-зимнему белой земле, среди густого бурана. Да и пора летних гроз давно уже отошла: было начало октября.

А стихия бушевала и бесновалась, и что-то непонятное, жутковатое было в этом бешенстве огня и снега, в этом мертвенно-голубом зареве, возникающем, казалось, из самой земли. Далеко в степи раздался сухой оглушительный треск, а следом взметнулось пламя — наверное, молния попала в скирду, сено вспыхнуло высоким алым костром.

И пронеслась уже налетевшая бог весть откуда мимолетная гроза, и кончился снегопад, а сено все горело, и оттуда несло сладковатым запахом дыма, и кроваво-красные сполохи тревожно метались в непроглядной ночи...

Я снова вернулся в избушку и заснул легким, светлым сном. Снилось мне зима, зимнее утро, чистое и морозное. Все скрипело: промерзшее крылечко, снег под ногами, колодезный журавель. У колодца, в синеватом снегу, хлопотали красногрудые снегири, будто кто рассыпал там корзину с помидорами. И все вокруг было в мохнатом, как овчина, синеватом инее, и даже пощипывало в носу от колкого морозца...

Я и проснулся с ощущением этой холодной свежести и чистоты. За окном было еще темно, но в избушке сеялся бледный полумрак. От выпавшего снега, догадался я.

Поеживаясь, накинул шубейку и вышел на улицу. Утро только начиналось, мглистое и прохладное. Однако на чистейшем снегу все виделось резко и отчетливо. И я не узнавал окрестностей, будто совсем в другие края перенесли меня сновидения. Вчера вечером, до снега, когда я пришел сюда, к этой избушке, здесь зеленела еще по краям болотинки жесткая резучая осока, тускло светилась вдали большая чановская вода, а молодой березовый колочек, наполовину облетевший, весело пестрил и переливался под ветром остатками листьев, которые тихим золотом светлели в вечернем полумраке.

Теперь же все бело вокруг и безмолвно, словно вместе со снегом опустилась на землю тишина. Скрылась, полегла под снегом зеленая осока, озерная вода почернела в белых берегах... Но где же тот молодой березовый лесок, что стоял недалеко от избушки? На том месте виднелись лишь изогнутые дугами стволы.

Я подошел к одному деревцу, припавшему вершиной к земле, и сильно встряхнул его. Осыпаясь, зашуршал снег, мокрые комья обрывались вместе с листьями, и березка вдруг упруго вскинулась к небу.

Пришлось немного поработать. Зато, когда уходил, все березки выпрямились по-прежнему и светло тянулись к низкому, дымчато-сизоватому небу.

Теперь уже настолько развиднялось вокруг, что можно было идти на берег озера, к камышовому скрадку, который я наспех сделал вчера вечером, уже потемну.

И хорошо мне, как бывает всегда, когда сделаешь что-то полезное, нужное для природы. Защитил ли скворчинный выводок от разбойника кота, который на твоих глазах полез когтистой лапой в круглый леток скворечника, одернул ли несмышленного мальца, замахнувшегося палкою на муравьиную кучу, или поздней весной, когда вошло в берега озеро, а в лужах остались головастые рыбы мальки, выловил их сачком и перенес в большую воду — все это сделано на благо природы.

С беспмятных детских лет природа вошла в меня необъяснимой страстью. С первобытным чутьем отзывалась моя душа на всякие перемены, которые в ней творились. Я грустил вместе с печальным пасмурным днем поздней осени, когда земля наполнена запахами увядания, а с неба падают тоскливые клики отлетающих журавлей; радовался буйному половодью и яростному солнцу весны, когда, кажется, на глазах прут из земли травы и в тишине лунных ночей с пушечным грохотом взрываются на деревьях почки; я любил и ненавидел то, что любит и ненавидит природа, и не мог себе представить, как

можно жить без нее, — ведь это, казалось мне, все равно что рыбу заставить жить без воды, а птицу без неба...

Я зашел в избушку, чтобы взять ружье, заплечный мешок и идти в камыши, к своему скрадку. С этой избушкой мне крупно повезло. Когда я вчера вечером приехал с попутными возчиками сена на берег Чанов, то попервости растерялся даже: как же заранее-то не подумал, где буду ночевать, ведь ночи холодные, непогожие, а у меня — лишь драная шубенка, про которую бабушка Федора как-то сказала, что хозяйки-то, самой шубы, уже не стало, одни квартиранты, то есть заплатки, наклеены. В такой одежке не шибко-то сладко под открытым небом. А тут этакая радость: иду берегом, гляжу — под небольшим обрывчиком пластяная избушка! Позже-то я узнал, что таких землянок много на Чанах, почитай, каждый рыбак и охотник раньше рыл для себя свою собственную.

Прихватив в избушке все необходимое, я чуть не бегом ударился к камышам. Да и напрасно спешил: то, что издали казалось белесой рассветной мглой, на самом деле было туманом. Туман так плотно лежал над водой, что, сядь утка в десяти шагах, я бы ее ни за что не увидел. И будто в подтверждение этому совсем рядом всплеснулась вода, захлопали крылья — сорвалась не видимая мною стайка уток. Я замер, сжимая ружье, чувствуя, как сладко заколотилось сердце. Вот оно, начинается то, ради чего я ехал сюда, в такую даль! Ради чего пропустил занятия в школе, огорчил маму, которая боялась отпускать меня на озеро одного, позабыв, что мне уже, слава богу, пятнадцать лет.

Да как же я мог усидеть дома, когда двинулась, валом пошла северная утка?! В наших краях это происходит обычно в такое как раз время, в начале октября. Самая крупная, самая красивая утка — свиязь, шилохвость, гоголь, чернеть хохлатая, черный турпан — птица голубых кровей, которая, презирая все земли на свете, гнездится только на безлюдном суровом севере, большими табунами двинулась сейчас на юг, лишь изредка останавливаясь на попутных кормовых озерах. Наше озеро Чаны и было как раз таковым, располагаясь на пути великого перелета. Северная утка в зависимости от погоды пролетает за три-четыре дня. Изредка идет неделю. И важно не упустить этот краткий момент, который зависит от прихода холодов. Врожденные, потомственные охотники чувят время перелета каким-то особым чутьем, — как, например, больные ревматизмом за несколько дней вперед чувствуют перемену в погоде.

Над озером пластался беспросветный туман. Я бесцельно бродил по берегу, останавливаясь, прислушиваясь. Казалось, совсем рядом с тихим побрякиванием плескались утки. Иногда селезень заводил длинно и предостерегающе: кря-кря-кря-кря! Жалобно вскрикивали гагары, издали, с большой воды, доносился гусиный гогот. Чудилось, что озеро набито птицей.

В густых высоких камышах я увидел пробитую тропу, или резь, как говорят местные жители. Направился вглубь по этой тропе. По бокам трехметровой стеною стояли неподвижные камыши. Вскоре под ногами зацокала темная няша. Потом засветилась свинцовая вода. Она стала доходить выше колен и ощутимо сжимала ноги, обутые в резиновые сапоги.

Влево от основной тропы ответвлялась плохо промятая резь. Пошел по ней и вскоре увидел торчащий из камышей смоленый нос лодки-плоскодонки.

Неподалеку нашелся и длинный шест. Я обрадовался: возьму, поплаваю, а после поставлю на место.

Сильно толкаясь шестом, выгнал лодчонку из укрытия на основную тропу. Тут пошло легче, можно было плыть без шеста, хватаясь руками за камыши по бокам. Вскоре я выплыл на чистину и остановился. Громко залопотали вспугнутые птицы, поднимаясь на крыло. Но по-прежнему ничего не было видно в тумане.

Я поплыл кромкой камышей, осторожно отталкиваясь шестом, стараясь не плескаться. Камыш рос не сплошной ровной стеною. Он тянулся вдоль берега причудливыми зигзагами, в его крепях было множество плесов и крохотных заливчиков.

Камыш то смутно темнел справа от меня, то исчезал совсем. И тогда охватывало неприятное чувство одиночества и пустоты. Ну, ночная темнота — это привычно и понятно. Ты не видишь предметов, но ощущаешь их вокруг себя каким-то внутренним чутьем. В тумане же это чутье утрачивается. Ты окутан светлой мглой и потому должен видеть окружающий мир, но недвижимая, мертвая мгла ничего не дает глазу, и начинает чудиться, что ты повис между небом и землей в жутковатом белесом пространстве и зримый мир навсегда исчез для тебя...

А туман, казалось, все густел, наливаясь сырой и холодной молочной белизною, и уж не только что-то различить, но и что-нибудь услышать стало невозможно. Напитанный водянистой моросью воздух глушил все звуки, как вата. Даже всплески моего шеста о воду доносились будто издалека.

Я стал жаться к камышам, и тут спереди донесся до меня звук, похожий на длинный стон или рыдание. Я замер и явственно расслышал тоненький женский голос. Мне стало зябко и неуютно: в голову полезли сказки о русалках, рассказы об утопленниках. Но любопытство одолевало страх, тоненький голосок притягивал к себе, и я, перебираясь руками за камыш, тихо стал подплывать. И, наверное, подплыл совсем близко, потому что даже сквозь туманную глухоту ясно услышал песню, хотя и не различил слова. Песня была жалобная, проголосная, похожая на стон или причитания. И странным показался голос певуни. Он был нестерпимо высокий и чистый и, казалось, звенел от закипавших слез. Может быть, становился он таким, пробиваясь и очищаясь через глухие пласты тумана, но я никогда не слышал такого высокого голоса, хватающего за душу пронзительной печалью. У тетки Мотри Гайдабуры, лучшей в нашей деревне певицы, голос тоже высокий и, может быть, сильнее, красивее этого, но тетка Мотря — баба по характеру веселая, не могла подняться в песне до такой неизбежной, звенящей слезами печали.

Я боялся пошевелиться, сидел, до боли сжимая мокрые края лодки, а песня все лилась высоко надо мною, и мне чудилось, что рождается она сама по себе, без участия человека, из этого вот белесого тумана, из тихоструйной озерной воды, из шороха и жестяного звона пересохших камышей, — и песню эту никуда отсюда перенести невозможно: она являлась из белой мглы и во мглу уходила, растекаясь над водою.

И еще показалось мне, что я слышал уже эту песню, только не помню, где и когда. Может быть, в далеком беспамятном младенчестве мама пела ее над

моей колыбелью долгими зимними ночами, а может, она в крови у каждого русского человека...

Послышался простуженный грубый кашель, и песня оборвалась.

— Ой, неужто разбудила? — испуганно спросила певунья.

— Да... Эдак кричать — и мертвый поднимется, — недовольно отозвался хриловатый мужской голос.

— Ты ведь говорил, что любишь засыпать под мои песни.

— Говорил... — Мужчина снова закашлялся, видать, закурил. — Я давно из пеленок, чтобы колыбельными меня нянчить...

Оказывается, рядом со мною, в камышах, находились мужчина и женщина, невидимые в тумане. И не шибко-то было удобно подслушивать их разговор. Я тихонько начал отплывать, но шест осмыгнулся в руках, ударил о борт лодки.

— Кто там? — настороженно спросил мужик.

Я снова замер. Молчали некоторое время и мои таинственные соседи. А мертвая пелена тумана между тем начала приходить в движение. Белесая муть заметно потекла понизу, обнажая тускло поблескивающую воду, верхний же слой тумана держался серым холстинным пологом. И на этом пологе раздавленным яичным желтком стало распознаться слева водянисто-желтое пятно, — видимо, пробивалось сквозь туман взошедшее солнце. Стали отчетливее всплески и криканье уток, даже тревожный гогот гусей донесся издалека. Белая мгла тронулась, потекла, в непроницаемых недрах ее зашевелились косматые тени, но взор все так же обрывался на расстоянии вытянутой руки.

— Как с завязанными глазами, язви тебя в душу-то! — громко выругался хрипчатый мужик, испортивший такую красивую и печальную песню.

— А я люблю этакую погоду, — отозвалась недавняя певунья. — Душа отдыхает, распускается... Как все одно в банном пару — ничо не видно, ничо не слышно, и будто летишь куда-то — ни неба, ни земли...

— Мотри-ка, разлетелась, — заворчал мужик, — с печки на полати на кривой лопате.

Он, видать, был не в духе и все передразнивал, подковыривал женщину.

— Больно мне, Егор, тоскливо, — вдруг пожаловалась она, и в голосе ее послышалась детская незащищенность. — Сердце прямо разрывается, горе чувствует какое-то... Всю-то ноченьку глаз не сомкнула, все ждала тебя. А чуть зариться стало — избу на замок, узелок в руки и побегла сюда, на берег. Пять верст как на крыльях отмахала, думала, не стряслось ли чего с тобою, беда какая...

— Ладно, говорила уж, — оборвал мужик.

Женщина замолчала, но, видно, молчать ей было невозможно, и она заговорила снова, горячо, сбивчиво, торопливо, боясь, наверное, что ее опять перебьют:

— Ты не сердись, Егорушка, не надо. Чего ты сегодня сердитый такой? Больно мне, не сердись... Ты и вправду вечер заплутался в камышах, потому и не пришел ко мне? Я верю, верю! Тут есть такие крепки, такие глухомани, что не приведи господи. Я родилась на этом озере и выросла, да и то, бывало, блукаю. Заплывешь в камыши, да ежели еще солнышко за тучами, — где берег,

в какую сторону выбираться? — только небо над головой... Не сердись, Егорушка, вижу, как ты умаялся, миленький, — даже песням моим не рад. А ведь так любил поначалу мои песни! А у меня, кроме песен, и нет больше ничего, — вот она я, вся перед тобою, вся до последнего ноготка твоя: хошь — казни, хошь — милуй...

— Ладно тебе, — смягчился мужской голос, — завела, как поп на панихиде... Давай-ка лучше что там пошамать принесла.

— Я сейчас, я сейчас! — зашепила женщина, видимо, развязывая принесенный узелок с провизией. — Че успела на ходу схватить... Лучок вот, капуста... Хлеб-то шибко уж... Как глина. Из отходов лучше не испеешь...

— Тьфу, мать твою! — снова заерепенился мужик. — И когда он кончится, этот туман? Прямо как бельмы на глазах... А погреться ничего не притащила? Плюй на мелочи жизни, Марьяна!

— Да я уж и то, — грустно отозвалась женщина.

— Вот я и говорю... — жадно пережевывая пищу, давясь словами, продолжал мужик назидательно, — сегодня ты день прожил, он уже не твой, назад не вернется... Поэтому и надо ловить миг удачи, как говорит мой друг Кольша Кашкин. Счастье своими руками брать, Марьянка, за горло его, сучонку!

— Эх, в чем оно, счастье-то? — вздохнула женщина.

— А вот в том и есть... — мужик кхэкнул в кулак и, что-то пережевывая, загундосил в нос, — в том оно и есть, Марьянушка. Ты в ресторане хоть раз была? Ах да, ты и в настоящем городе ни разу не была. Ну, тогда тебе трудно объяснить, что такое счастье...

Мужик пропел своим хриплым голосом:

*Улыбнись, Маша,
Ласково взгляни.
Жизнь прекрасна наша,
Солнечные дни!*

Перебираясь руками за камышинки, я стал тихонько отплывать назад. Сперва мне казалось, что эти мужчина и женщина, невольным свидетелем встречи которых я оказался, тоже, как и я, сидели в лодке, на воде. И лишь теперь догадался, что они находились на суше, — вода и камыш в этом месте вплотную подходили к берегу.

Туман продолжал течь и редеть, совсем рядом, в двух саженях от меня, смутно обнажился голый пологий берег. Чтобы снова не запутаться в камышах, я решил здесь причалить и идти в избушку: все равно, пока окончательно не рассеется туман, на озере делать нечего.

Моя плоскодонка мягко торкнулась тупым носом в песчаный берег, стараясь не шуметь (те двое были совсем рядом, за высокой гривой камыша), я вытащил ее на сушу, подальше в заросли засунул шест, вскинул на плечо ружье, взял свой тощий сидорок с харчишками...

— А ведь я сегодня уезжаю домой, — слышалось за камышами.

— Как уезжаешь? — испуганно переспросил женский голос.

— Так. На паровозике. Ту-ту-у! В свой родной город Омск.

— Ты же говорил, останешься до зимы?

— Говорят, что в Москве кур доят, — хихикнул мужик. — Поплыву сейчас к Черной Курье, там дружок мой Кольша Кашкин, наверное, уже меня поджидает. Должен подводу до станции нанять...

— Ты же говорил... А как же я? — сорвалась на вскрик женщина. — Как же я-то буду теперь?

— Ну-у, начинается концерт по заявкам, — сердито пробурчал хрипачий. — Знал бы — не говорил. Еще ведь вчера собрались мы, да лошадь до станции не удалось нанять.

— Да как же ты такое можешь? Ты ведь клялся мне! — Голос женщины высоко зазвенел от накупивших слез, как тогда, когда пела она свою тоскливую проголосную песню. — И ведь чуяло мое сердце... — Она зарыдала горько и беспомощно. Но сразу же осеклась, тихо всхлипывая.

Там, за камышом, послышался стук о борта лодки, заплескалась и захлюпала вода, — наверное, мужик собирался к отплытию, укладывал свои вещи.

— Ну ладно, — чуть смягчился его голос. — Приеду я еще, не реви... Вот управлюсь с делами и...

Он крикнул, послышался скрип песка о днище лодки, которую сталкивали в воду. Потом шаркнуло о борт весло, вставляемое в уключину.

— Егорушка, милый! — вскинулся и задрожал в неизбывной тоске звенящий женский голос. — Ну скажи хоть словечко на прощание! Хоть единое!..

— Вернусь я. Говорю же, — глухо отозвался мужик. — Ну, чего ты? Ну, давай по-хорошему. — (Мне показалось, что хриловатый голос его дрогнул.) — А песни твои буду помнить. И вообще... Ну, прощай...

— Егорушка, радость моя! — задохнулась женщина. — Кроме тебя, не будет мне больше счастья и радости... Всю жизнь буду помнить...

Послышался всплеск весел, лодка отчалила от берега и стала быстро удаляться. Торопливые всплески постепенно глохли в редееющем текучем тумане.

— Егорушка-а-а! — взлетел высоко над водой пронзительный женский голос.

Этот прощальный возглас словно подстегнул гребца, он еще быстрее заработал веслами, и вскоре все затихло. Долго-долго, казалось целую вечность, держалась над озером напряженная тишина. Даже утки не плескались и не крикали в камышах, словно тоже к чему-то прислушивались.

И тогда издали, из белесого жидкого тумана, донеслось невнятно. И я скорее догадался по мотиву, чем разобрал слова:

Улыбнись, Маша,
Ласково взгляни, —

пел хрипачий мужик на лодке.

— Не вернется-а! — дико закричала за камышами женщина и упала, глухо стукнувшись о землю. Она долго билась там и выла, потом затихла, присмилела.

Я снова собрался идти в свою избушку, отдохнуть там и перекусить, уже надел на плечо ружье, — но опять что-то удержало меня, какое-то нехорошее предчувствие больно кольнуло сердце. Я тихонько подошел к камышу, за которым была женщина, и замер, напрягая слух. Но там было тихо, не слышалось

даже всхлипываний. И мне подумалось: уж не прослушал ли я, не ушла ли она отсюда?

Я огляделся по сторонам. Солнца не было видно за тучей. Туман почти совсем исчез, лишь над темной водой озера висели еще белесые округлые пластушины, — казалось, это низко так опустились с неба облака.

Из-за рыхлой серой тучи вырвался пучок солнечных лучей и ударил в озеро. Вода в том месте вспыхнула, засияла всеми цветами радуги. Из-под той же низкой тучи показалась большая стая лебедей. Эта поздняя стая летела молча и торопливо. Я следил за ней, пока птицы не скрылись за сизой дымкой горизонта...

За плотной стенкой камыша послышалась какая-то возня. Значит, женщина там, не ушла еще. Потом зашелестел, затрепал камыш, зачавкала няша. Дальше — в такт торопливым шагам стала всплескиваться вода. Всплески становились все глуше, все дальше от берега.

Я испугался. Как был — с ружьем на плече — кинулся в камыши. Это уж после до меня дошло, что разумнее было бы обойти кругом. Камыши были высокие и такие плотные, что, казалось, и водяной крысе ондатре сквозь них не пролезть. Я ломился напрямик, кидался грудью на камышовую стенку, а она упруго отбрасывала меня назад.

Наконец мне удалось прорваться на чистину. И я сразу увидел женщину в красном платке. И пока я топтался в растерянности, не зная, что предпринять, женщина все дальше уходила от берега, все глубже погружалась в воду, и белое широкое платье ее вздувалось вокруг пузырем, а когда пышная белизна платья вспенилась так высоко, что охватила вокруг голову в красном платке, — женщина издали стала похожей на беспечно покачивающуюся в серой воде хрустальную лилию, страшную своей красотой.

Я рванул с плеча ружье и выстрелил в небо...

3

Сейчас я не помню точно, в каком году, но знаю, что это было в конце семидесятых, когда работал я собственным корреспондентом Агентства печати «Новости» (сокращенно — АПН) по Западной Сибири. Регион огромный, мотаться по командировкам приходилось много. Нам, собкорам на местах, в основном приходилось выполнять заявки различных зарубежных информационных агентств. Коротко поясню, что это за работа. К примеру, приходит из Англии в Москву, в нашу главную редакцию АПН, заявка: мы, англичане, желаем знать, как живут советские шахтеры, — сколько получают, как у них с жильем, многие ли из них имеют личные автомобили, собственные дачи, — ну и, попутно, каковы у шахтеров условия труда, как в советских шахтах обстоят дела с механизацией и автоматизацией.

Из Москвы эту заявку передают мне, собкору. И, чтобы выполнить просьбу англичан, я лечу, к примеру, в Кузбасс, к шахтерам.

И вот в том году, когда произошла эта памятная для меня на всю жизнь встреча, поступила заявка из Франции. Французов интересовал вопрос: кто в Стране Советов может быть удостоен высокого и почетного

звания — Герой Социалистического Труда? Может ли этого звания добиться любой и каждый или присваивается оно только избранным, некой «коммунистической элите»?

Выполнить эту заявку я поехал в Омскую область. Надо отдать им должное, — зарубежные агентства массовой информации не любят общие теоретические рассуждения, — им подавай конкретные факты и конкретных людей с точными адресами и подлинными фамилиями.

Областные руководители в Омске посоветовали мне съездить в один из своих совхозов, где работала дояркой Герой Социалистического Труда... ну, к примеру, Мария Ивановна Иванова. Я не могу здесь назвать настоящей фамилии этой женщины.

Вместе с корреспондентом местной газеты, вызвавшимся сопровождать меня, мы покатали на редакционном вездеходе-уазике в совхоз. Дело было летом в самую жару, дорога была длинная, но нам повезло: Марию Ивановну мы застали дома. Она копалась в огороде, пропалывала на грядке морковь, и когда мой коллега, знавший ее давно, окликнул, чтобы нас познакомить, хозяйка ойкнула, быстро разогнулась, торопливо одернула юбку, тыльной стороной ладони попыталась оправить выбившиеся из-под косынки волосы, потом смущенно улыбнулась, тряхнула головой и протянула мне руку. Я обратил внимание, что ладонь ее была твердая и не по-женски широкая, словно раздавленная тяжелой работой.

В остальном же Мария Ивановна выглядела внешне симпатичной женщиной в том переходном пятидесятилетнем возрасте, когда утрачены уже формы и краски молодости, но и старость не успела еще оскорбить человека своими морщинами, сутулостью, поредением волос. Напротив, у Марии Ивановны было гладкое и крепкое лицо с тем смуглым здоровым румянцем, какой бывает у людей, постоянно работающих физически и на свежем воздухе. Ничего особенного, самое обыкновенное простое лицо русской крестьянки, только, может быть, глаза ее способны привлечь внимание. Они большие и редко зелено-зеленые, с чуть заметной поволокой всегдашней грусти.

И когда мы сидели с Марией Ивановной в чистой, прохладной горнице и она рассказывала о своей работе, о нехитрых секретах получения высоких надоев молока, и ее взгляд то светился лукавой усмешкой, то вновь туманился печалью, — я все старался припомнить, где же и когда я видел эти глаза.

К концу нашей беседы она тоже, как мне показалось, все пристальнее стала вглядываться в меня, иногда, задумавшись, замолкала на полуслове, и тогда у нее был такой вид, будто она хотела что-то спросить, но не решалась...

В горницу, пока мы разговаривали, вошла и взяла с этажерки какую-то книгу высокая девушка — стремительная, красивая, сильно похожая на хозяйку.

— Вы тут, молодой человек, не шибко-то с нашей Мариванной шепчитесь, муж у нее есть, — насмешливо покосилась она на меня.

— Дочка моя Наташа, — с гордостью сказала Мария Ивановна, когда девушка вышла. — Нынче пединститут закончила, работать в родное село приехала... Есть еще два сына, но те уже взрослые, своими домами живут.

Да, Наташа походила на мать: те же светлые волосы, та же зелень плескалась в больших, почти круглых глазах, но только лицо было худощавое и бледное и четкими, тонкими чертами напоминало иконописный лик Богородицы...

Дорогой, когда возвращались в Омск, я все мучился и вспоминал, где я видел такие зеленые глаза. Больше того, мне чудилось, что я встречал уже когда-то такое вот иконописное, как у Наташи, лицо. Где это было, когда?

Скверная привычка мучает меня всю жизнь: пока что-нибудь позабытое не вспомню, — человека ли, случай ли какой, или просто вылетевшее из головы слово, — пока не вспомню, не могу ни о чем другом думать. И когда все-таки, переверосив в памяти десятки событий, лиц, мест и фамилий, — докапываюсь до сути, припоминаю, то радуюсь так, будто сделал большое и важное открытие.

Вот и теперь, в душевной машине, мчащейся по пыльному проселку, вдруг вспыхнуло в мозгу озарение: да ведь это же она! Та самая женщина, которая тридцать лет назад... Я давно знал по личному опыту, что жизнь выкидывает порою такие фортели, какие не под силу выдумать и самым изощренным авторам детективной, приключенческой, фантастической литературы.

Я вежливо тронул за плечо задремавшего коллегу, который говорил, что знает Марию Ивановну больше двадцати лет, и спросил:

— Скажите, а она поет?

— Кто поет? Зачем поет? — бессмысленно вытаращился он на меня спросонок.

— Ну, Мария Ивановна. Песни петь любит?

— А-а... Я забыл об этом, когда о ней вам рассказывал: в молодости у нее был прекрасный голос... Изумительно высокий и чистый. Говорят, приехали из консерватории, интересовались, да куда там: дети у нее пошли, муж, работа... Так вот оно у нас и водится, да-с. Впрочем, она, кажется, до сих пор в самостоятельности поет...

— И еще: забыл у нее спросить, откуда она родом? — признался я в своей оплошности.

— Точно не помню, — подумав, ответил коллега. — Писал как-то о ней очерк в свою газету, давно... Кажется, она ваша землячка, откуда-то с озера Чаны...

Теперь у меня сомнений больше не было: это она.

4

Она уже выше пояса зашла в ледяную воду по пологому дну озера и белое платье колоколом вздулось вокруг нее, когда я наконец выломился из камышей на чистую кромку берега и в испуге и растерянности выстрелил вверх. Она обернулась, что-то закричала — страшное, дикое, — взмахнула руками и скрылась под водой. И лишь платье не утонуло совсем, хлопьями пены пузырилось на том месте.

Я бросил ружье и прыгнул в воду. И вода сразу хлынула за отвернутые голенища моих резиновых сапог, ледяной стужей стиснула ноги. Я рванулся, побежал, но, казалось, лишь буровил на месте воду. Так бывает во сне: ты

стремительно рвешься вперед, а ноги ватные, непослушные, и нету сил одолеть эту скованность, и разрывается сердце от собственной немочи...

Женщина оказалась впереди, она забилась в брызгах, как раненая птица, уходя от меня вглубь, но сразу же остановилась, повернула к берегу и медленно пошла на меня, низко пригнув голову. Она шла на меня в облепившем тело белом платье, словно голая, а я пятился от нее, как от привидения, как от русалки, которая, казалось, сейчас вот расхохочется, бросится на меня, чтобы защекотать до смерти.

Я выскочил на берег, она вышла следом и тут же упала ничком. Спина у нее ходила ходуном, в горле что-то хрипело и клокотало. Я растерянно топтался над ней, понимая, что надо немедленно что-то сделать, что-то предпринять, — ведь передо мною лежал человек, выбравшийся из ледяной воды, лежал на мокрой траве, еще пегой от выпавшего ночью снега.

Я нагнулся, взял ее за холодные мокрые плечи, попытался приподнять. Тело ее мертвой тяжестью выскользывало из моих рук. Что же делать, кого позвать на помощь? Кругом ни души.

Но она вдруг зашевелилась, подогнула под живот колени, уперлась в землю руками и стала медленно подниматься. Я придержал ее под мышки, женщина покосилась на меня нехорошим мутным глазом, сказала свистящим шепотом, заикаясь:

— У-уходи.

Но я завел себе за шею ледяную ее руку, обхватил за талию, и так мы потащились в сторону моей избушки. И на великое счастье, в избушке, перед глинобитной печуркой, оказалась кучка сухого плавника и раздерганный камышовый снопик. Положив женщину на узкие, из жердочек, нары, застланные старой, перетертой в труху соломой, я первым делом разжег печурку, потом вылил из своих сапог воду и сбегал на берег. Там подобрал свое ружье, нашел плюшевую жакетку, теплую шаль и узелок «утопленницы».

Когда вернулся в избушку, она сидела на нарах и бессмысленно глядела вверх, в одну точку. Я положил рядом с ней ее вещи, она, не взглянув на меня, снова прошептала:

— У-уходи.

Я прихватил охотничий нож, выточенный в кузнице из обломка литовки, и помчался резать камыш для печурки. От холода или после пережитого у меня тряслись руки, но пришла уверенность, что теперь-то все будет нормально. Я выбирал сухие прошлогодние поросли камыша, пучками пригибал стебли к земле и широкими взмахами ножа рубил под корень, разогреваясь работой.

Когда притащил в избушку большую охапку топлива, женщина успела переодеться. Она сидела в потертой плюшевой жакетке, юбку ей заменяла обернутая вокруг бедер серая шаль, а белое платье и красный платок с головы были отжаты и сушились на жердочке над печуркой.

Я ломал пучки камыша, набивал ими прожорливый зев печки, а сам украдкой посматривал на женщину. Она вплотную придвинулась к глиняному потрескавшемуся боку печурки, и, хоть пламя бушевало вовсю, а в избушке стало совсем тепло, ее продолжал колотить озноб. Стужа выходила из нее мучительно трудно, она крупно дрожала всем телом и, видно, не могла

удержаться, — тоненько и жалобно поскуливала сквозь крепко сжатые зубы. Иногда зубы ее начинали неудержимо стучать и она прикрывала рот руками. Лицо было серым, а губы и совсем пепельные, неживые. Но глаза уже не казались мутными и дикими, взгляд стал осмысленным, она пристально поглядела на меня и спросила, преодолевая икоту:

— Ты... ты как меня там увидел? — Женщина махнула рукой в сторону озера.

— Как... Шел по берегу и увидел, — как можно беспечнее ответил я.

— А я, па-панимаешь, сети па-палезла проверять да чуть не па-патонула.

Я понимающе глянул на нее, женщина потупилась, заерзала на нарах. Она все льнула к печурке, все не могла согреться.

— Сдохнуть можно али чахотку схватить.

Она потянулась за своим узелком, развязала его на коленях. Там была бутылка, заткнутая тряпичной пробкой, стакан, объедки черного хлеба. Женщина встряхнула бутылку на свет, зубами вырвала пробку.

— Осталось маленько, — сказала она. — Давай, погреем нутро, а то пра-пастыть можно...

А меня поразила внезапная мысль: как это все, оказывается, просто: как они близки между собою — жизнь и смерть! Ведь только что человек хотел умереть и, наверное, сделал бы это, если б не помешали, а вот уже земное у него на уме, беспокоится о своем здоровье, — как бы насморк не схватить, — и никаких трагедий, и все вмиг позабыто... А позабыто ли?

Я вспомнил: мужик тот хрипатый, когда на озере в тумане я оказался нечаянным свидетелем их встречи, называл эту женщину Марьяной. Марьяна плеснула из бутылки в стакан мутной жидкости, протянула мне:

— Тя-тяпни маленько. Тоже ведь скупался.

Я разом проглотил. Горло обожгло. Жидкость воняла жженой шерстью или дегтем. Женщина тоже выпила, и ее стало трясти еще сильнее.

— Па-последняя простуда выходит, — сказала она. — Я вообще-то ее не шибко, да тут надо.

Она решительно допила последнее из бутылки, лицо у нее перекошило, онахватила ртом воздух, как выброшенная на берег рыба.

Я еще сходил на берег за камышом, а когда вернулся в избушку, Марьяна успела переодеться в свое белое платье и в накиннутой на плечи плюшевой жакетке, сгорбившись, сидела у огня.

— Ты чей будешь? — спросила она. — Ты что же, вправду подумал, что я топиться собралась?

— Ничего я не подумал...

Мне не шибко-то нравился этот допрос: вишь ты какая, еще и беспокоится, чтобы не подумали о ней плохое, репутацию бережет. И разговаривает со мною прямо как с мальчишкой... Она, видно, почувала мое недовольство, оставила свой снисходительный тон, заговорила торопливо и сбивчиво:

— Далеконько ты забрался, знаю ваши Ключи, третешней зимою ездила с бабами туда, рыбу на хлеб сменять хотели...

— Сменяли?

— Какое там! Вашим колхозничкам самим хоть суму на шею надевай да по миру пускай... Так и отдали рыбешку за бесценнок — за два воза гнилой соломы...

Женщина заметно оживилась, сама стала ломать и подбрасывать в печурку сухие камышинки, которые шевелились там и топорщились, как живые, пока не вспыхивали синеватым пламенем.

Меня поразила ее худоба. Над плоской грудью из-за выреза на платье проглядывали острые ключицы, обнаженные до локтей руки были тонкие и синие до прозрачности, а кисти походили на плицы — широкие, раздавленные работой.

На узком худощавом личике лежала матовая бледность, казалось, ни единой кровинки в нем не осталось, и только глаза — большие, почти круглые, неправдоподобно зеленые — жили на этом мертвенном лице. Такие лица я видел у святых мучениц на иконах.

— Чего глядишь, хороша я? — горько усмехнулась женщина тонкими пепельными губами и как-то вдруг бесшабашно трянула головой: — Ниче-е! Были бы кости, а мясо нарастет!..

А мне почему-то неволью представилось, как совсем недавно валялась она на берегу в облепившем тело белом платье, словно голая, и корчилась в судорогах, хрипела и задыхалась... И еще припомнилась ее песня, звучавшая в тумане, и в песне той было столько грусти и первобытной мощной красоты, что никак не вязалась она в моем сознании с этой худенькой хрупкой женщиной, — не могла такая песня в ней вмещаться, — наивно думалось мне.

— А я ведь красивая была, — тихо проговорила Марьяна. — У-у, какая была! Парни косяками за мной бегали... И куда же подевалось? Обглодала меня до самых косточек проклятая нужда, задавила работа...

Она рассказала, что живет в рыбацком поселке Тополёвик, который находится в пяти верстах отсюда. В том поселке родилась и выросла. Отец, потомственный рыбак, еще до войны утонул, попав на озере в сильный шторм. Мать не вынесла, через месяц умерла с горя...

— Она и всегда-то ненормальная была, — рассказывала про мать Марьяна, — ве-ечно с причудами какими-то. Рыбешку ежели чистить начнет, а какая снулая возьмет да затрепыхается — вот уж визгу, аж с лица спадет, так пужалась... А верила без разбору во все: и в бога, и в чертей, и в домовых, и в русалок... А когда тятя потонул, она и начала чахнуть прямо на глазах. Сна лишилась напрочь. Уйдет на берег и сидит, воет целыми ночами, пока добрые люди под руки домой не приведут. Так на крик вся изошла...

После матери осталось четверо круглых сирот. Ей, Марьяне, самой старшей, в ту пору пятнадцатый годок пошел. Хотели отдать ребятишек в приют, но Марьяна не позволила. Вот с таких-то лет и впряглась в работу и надела на шею хомут. Ломила наравне со взрослыми, а когда началась война и мужиков забрали, подставила хрупкие плечи под тяжелую рыбацкую ношу.

Летом еще так-сяк: хоть тяжело с неводом да на веслах, зато стужа не гнетет, не терзает тело ледяными своими зубами, а уж как наша сибирская матушка-зима настанет, — да на полгода целых, да жманет сорокаградусными морозами, да заметет, завьюжит так, что света белого не видеть...

— Шибко неуютно зимой на льду, — продолжала свой рассказ Марьяна. — Откуда ветерок ни подует — все тебе за пазуху норовит. Укрыться-то негде. Одно и спасение, что в работе. Не желаешь в мерзлую глызу превратиться — не зевай, не лови ртом ворон, а долби лед без роздыху,

пока искры из глаз не посыплются. Нам, ледорубам, больше всех достается. По норме надо каждому выдолбить пешней по тридцать лунок. А ежели зима малоснежна да сурова и лед до двух метров вырос, тогда как? К вечеру от натуги аж глаза на лоб полезут. Глянешь на пойманную рыбу и какому-нибудь окунишке махонькому позавидуешь: свернуться бы на снегу рядом с ним вот этак калачиком, и ни горя тебе, ни заботушки...

К тому времени я и сам уже повидал и испробовал немало разных крестьянских работ. Но более тяжелого труда, чем у рыбаков подледного лова, я еще не встречал. Прошлой зимой мы тремя подводами ходили на Чаны, чтобы выменять рыбешки на шерсть, холсты, веревки и всякую хозяйственную рухлядь. Там я и увидел все своими глазами.

Рыболовецкая бригада, одна из многих, промышлявших на Чанах, состояла из одних баб, над которыми бригадирил маленький веселый старикашка, краснощекий и с белой, клинышком, бородкой. Он в серой новенькой шубе-борчатке кружился, приплясывая вокруг больших, закутанных почему-то во все черное женщин и здорово напоминал шустрого воробышку среди неуклюжих галок.

— Эх ты, Катя-Катерина, прям не баба, а картина! — пел он тоненьким ласковым голосом и вдруг кричал, срываясь на визг: — Ты че же, нечистая сила, от других отстаешь, лихоманка тебя задави!

Эта самая Катерина и еще несколько женщин долбили лунки. Была в их медлительных движениях, в их фигурах непомерная усталость. Я подошел к Катерине, — это оказалась пожилая женщина с темным, изможденным, в струпьях, видно, не раз обмороженным лицом, — она и не глянула на меня, а продолжала с тупым равнодушием механически долбить лед, то поднимая пешню и откидываясь всем телом назад, то опуская ее с размаха в ледяную ямку и низко клонясь при этом всем корпусом вперед. Из лунки брызгали зеленоватые осколки и со звоном раскатывались по льду.

— Разрешите попробовать? — вежливо попросил я.

— Одна попробовала да и родила, — зло отозвалась Катерина, но искоса глянула на меня, отошла от лунки и тут же повалилась на лед.

Я взялся за пешню. Она была насажена на деревянный черенок с веревочной петлею, которая надевалась на руку, — это чтобы выскользнувшее ненароком орудие не ушло под лед.

Пешня была тяжела, и после нескольких взмахов я почувствовал ноющую боль в плечах. Потом руки стали непослушными, острие пешни тыкалось в края лунки, и вместо ледяных кусков из-под нее летело мелкое крошево.

— Эй, эй, Катерина-а! — закричал, подбегая, веселый старичок. — Так дело не пойдет! Эдак в носу ковыряют, а не лед долбят... Берись-ка, девка, сама!

— Изуит проклятый! — тихо сказала женщина, с трудом поднимаясь и беря из моих рук пешню. — И когда ты под лед провалишься?!

— Ой ты, Катя-Катерина, — пропел старичок, отбегая к другим женщинам.

Потом он охотно стал нам объяснять суть подледного лова рыбы.

— Видите эту майну? — спрашивает он, торопливо семеня у длинной и узкой проруби, в которой зеленовато просвечивалась чистейшая

вода. — Называется входная майна. В нее опускают невод, так? Опустили. Дальше че? Не знаете? А вот че: бабы долбят лунки в два ряда. Один конец невода по левому ряду идет, другой — по правому. К концам энтим привязаны длинные веревки, к веревкам с другой стороны — длинные жерди, норила, по-нашему. Норильщики с обоих концов невода проводят норила от лунки к лунке, — тут огромный нужен талант! За норилами, как нитки за иглками, тянутся веревки, которые привязаны за концы невода. Таким манером веревки доводятся до другой большой проруби, выходной майне, по-нашему. Там концы этих веревок крепятся к вертушкам, вертушки крутятся, веревки на них наматываются, как на колодезный ворот, и тянут за собою невод подо льдом от входной до самой выходной майны...

Старичок все больше возбуждался от собственного красноречия, взмахивал короткими ручками и прыгал вокруг нас чирикающим воробьем.

— Видите лошадей? Во-она по кругу ходят! — пронзительно кричал он, будто были мы глухие. — Чего оне, лошадки, делают? Вертют ту самую карусель, вертушку, по-нашему! А в войну, когда лошаденек не хватало, так и вертушку бабы крутили. Навалятся грудью на карусельную жердь сразу человек по семи, и крутят, и крутят целый день, и, глядишь, то одна бабенка упала, закружилась, то другая... Отволокут их с круга в сторонку, чтоб не мешали под ногами, и опять крутят, и опять падают, а те, что на снегу полежали да очухались, те заместо падших заступают...

Припомнив эту зимнюю поездку на Чаны, я сказал Марьяне, что мне довелось видеть, как ловят подо льдом рыбу, похвастал даже, что мой столетний прадедуська Арсентий тоже природный рыбак, только живет он далеко отсюда, аж по другую сторону озера, в деревне Чумашки.

— Правду говоришь! Есть такая деревня! — оживилась, продолжая свой рассказ, Марьяна. — А доля наша рыбацкая, она, должно, повсюду одинаковая. Сейчас-то маленько полегче стало, а в войну... Мало того — работа тяжелая, дак ведь одеться-обуться не во что было. В пимах нельзя, потому как в любой мороз на мокром снегу робишь: лунку выдолбишь — вода и хлестанет из нее. А чесанки с галошами — где их взять? И вот смеху однажды было — за животики все взялись... Придумала какая-то умная голова поршни. Ну, это вроде полусапожек, только из невыделанной кожи. Из района, что ли, привезли, выдали нам, рыбацкам, — до того ловкая обувка, хоть на танцы в ней иди. А вот на льду в первый же день подвела, окаянная! Только чуток в мокро попала — сразу и промокла наша обувка. Раскисла, осклизла — ступаешь в ней, как по коровьему дерьму. Одно слово — из невыделанной кожи... Ноги у нас сразу леденеть стали, хорошо еще, от берега недалечко тоню закидывали. Вышли на берег, камышу наскли, костер большущий разложили, а сами разлеглись вокруг него да поршни-то свои в самый огонь норовим, чтобы ноги скорее отогреть. И хорошо так сделалось, детство припомнилось: набегаешься, бывало, зимой на улице, прибежишь домой, а ноги как ледышки. Мамочка разует тебя, возьмет ножонки в свои теплые ладони и та-ак ласково сожмет... Чую, чем больше нагреваются и сохнут мои поршни, тем пуще сжимают ноги. Вот уж стиснули так, что невтерпеж. Вижу, не я одна, другие бабы у костра

завозились, разуваться давай, да не тут-то было: ссохлись, намертво осели на наших ногах треклятые поршни! Поверишь, какие бабенки дак ударились в рев: и ноги больно, и ножом жалко обувьку пороть. Вот и катаемся круг костра — кто воет, кто хохочет. Со стороны бы кто глянул — ей-богу, кондрашка быхватила от перепугу. Не знаю, че и делали бы, если б не дедушка Гусь. Помер недавно, царствие ему небесное, а в войну норильщиком в нашей бригаде был. «Лезьте, бабы, в воду! — кричит. — Бегите к проруби и опускайте поршни в воду!» А какое там «бегите»! Шагу ступить никто не может. Вот и потащились по льду, кто ползком, кто на карачках. А дедушка Гусь, — он в пимах был, на поршни не позарился, — сзади с веревкой идет да подстегивает, если какая бабенка отставать начнет... Ох и смеху же было, на всю деревню! Но это опосля, а тогда мы до проруби кое-как дотащились, ноги в воду опустили да часа два просидели на льду, покуда поршни наши не отмокли! Почитай, вся бригада от простуды слегла... Тут тебе и смех, тут тебе и грех...

Марьяна замолчала и долго так сидела, уставившись на огонек в печурке. Молчание стало неловким, а мне так хотелось узнать историю Марьяниной любви к тому хрипатому мужику, из-за которого она, видимо, хотела утопиться. Кто он, этот мужик, и что между ними произошло? Кажется, никогда и ничья судьба меня еще не интересовала так остро. Но не спросишь же об этом, а сама Марьяна молчала.

Я сходил и принес еще охапку камыша, в избушке нашелся старый чугунок, в котором можно было вскипятить чай. Даже сухой пучок лабазника — душистой болотной травки — оказался подоткнутым под стрехой: прекрасная заварка!

Чай был готов, а Марьяна все так же недвижно и молча сидела у печурки, словно задремала.

— А я вот недавно прочитал книжку про любовь, — начал я, как мне казалось, издавека, хитро и осторожно. — «Анна Каренина» называется. Во была любовь так любовь! Под поезд бросилась баба, Анна Каренина то есть...

Марьяна взяла кружку с чаем, пристально поглядела на меня.

— Бросилась под поезд? — переспросила она. — Значит, припекло бабе... Расскажи.

Я начал сбивчиво рассказывать и тут с ужасом понял, что пересказать толстовский роман невозможно. Все перед глазами мельтешат — и Анна Каренина, и Вронский, и Левин, и другие, но что о них рассказывать, если они, как все живые люди, ходят, разговаривают, смеются, переживают?.. Как об этом рассказать, чтобы было интересно?

— Да ты не о том, — с досадой прервала мой запутанный рассказ Марьяна. — Ты объясни, почему она под поезд бросилась?

«А правда, почему?» — подумал я и сердито сказал:

— От любви и бросилась. Неужели не понятно?

— Дурак, — спокойно сказала Марьяна. — От любви разве умирают, если любовь нормальная? От любви расцветают, наоборот. Знаешь песню «Без любви и цветы сиротливо цветут»? Правильная песня... Ну а бывает такая любовь, что вспомнишь — и то по-волчьему завывать хочется. Вот послушай. Ты уже большой парень, поймешь... Расскажу тебе, как я первый раз в

жизни на эту самую любовь напоролась. — Зеленые Марьянины глаза сузились и потемнели, она передернулась вся, зябко кутаясь в накиннутую плюшевую жакетку. — В самом конце войны это было. Мне восемнадцать годочков стукнуло. Самое тяжкое время... Голодали, холодали. А робили... Лошади не выдерживали — падали. А мы, бабы да девчата, тянули, нам падать нельзя: все для фронта, все для победы!.. Но все равно молодость брала свое. И откуда только силы брались? Еще и на посиделки вечерами бегали. А там и песни спевали, и даже танцевать под гребенку наловчились. Пока ведь живой, о живом и думаешь... И вот прислали к нам из района уполномоченного. Он сказался, что агитацию среди рыбаков проводить приехал, а сам больше слезкой занимался: следил, чтобы рыба куда налево не уплывала. Бывало, идем вечером с тони — он навстречу. Где в шутку, где всерьез, а у всех бабенок сидорки да узелки общупает. Ушлый был мужик, хоть и с одной рукой. Другую, сказывал, на фронте оторвало. Ну так вот. И надо же было такому случиться! Столько одиноких баб вокруг, которые любому завалящему мужичонке рады, а он, кобель, втюрился в меня, девчущку зеленую. Начал мне потачку давать: то бригадиру нашему шепнет, чтобы с работы меня раньше других отпустил, то кусок хлеба младшим сестренкам моим подсунуть норовит. Вижу — неспроста это. И правда, скоро он себя выказал. Стал ухаживать за мной. Стал говорить, что женится на мне и сестренки моих не бросит, поможет на ноги поднять. Бабы, соседи узнали — в один голос советуют: иди не раздумывай! Завидуют даже — экое, мол, счастье девке подвалило! А я... ну никак не лежит у меня душа. Он невзначай ко мне прикоснется — меня аж кидает в дрожь. Рука у него холодная, липкая, будто лягуша. А голова как у бульдога-волкодава — ящиком. Зубы мелкие, редкие, а глазки — шильцем. И в годах уже мужик: губы брыластые, шея как сапог — складками. Никак не лежит душа... Сказала ему об этом в открытую, думала, добром отойдет. Нет, не отстал, озлился только, пить начал. Тут-то и узнала я, почем фунт лиха! Напьется, бывало, и прется среди ночи ко мне. Никакие засовы не держат, все напрочь переломал. Совсем взбесился, всякий стыд и совесть потерял: при сестренках, девчущках малолетних, зачнет меня лапить да мять, — те в крик, бегут соседи на помощь звать, дедушку Гуся. Это же огромное счастье мое, знать, в рубашке я родилась, — что у него, уполномоченного, руки-то одной по самое плечо не было: ниче он не смог со мной поделать!.. И топором грозил, и всяко, а потом отозвали его в район, и — как в воду канул...

Марьяна поглядела на меня, длинно вздохнула, тихонько добавила:

— Вот и вся любовь...

Признаться, этим рассказом я был немного разочарован. Я думал, Марьяна объяснит случай, который произошел с ней сегодня утром — в камышах, в непроглядном тумане... И я опять пустился на хитрость, спросил:

— И после того никакой любви у тебя не было?

Она поглядела на меня еще пристальней, покачала головой:

— А не рановато тебе об этом? Гли-ка, дотошный какой, прямо как прокурор... Любовь-то была, да сплыла! — она скинула с плеч жакетку, резко поднялась, стала ходить по избушке, угловатая, некрасивая в своей худобе. Белое, в илстых засохших пятнах, платье болталось на ней, как на колу. — Была, да сплыла, парень, — повторила она.

И опять села к печурке и стала рассказывать — какой-то будничной скороговоркой, сбиваясь и путаясь, и эта история ее любви показалось мне до обидного простой, даже скучноватой: никакой здесь не было романтической тайны, никаких красивых сцен, которые я успел уже присочинить для себя, когда услышал невыразимо печальную песню в тумане...

Всегда вот так: когда долго и напряженно ждешь какого-то события, лелеешь заранее его в своем воображении, — почти всегда наступает потом разочарование.

Марьяна рассказала, как нынче, еще с весны, приехали на Чаны из города Омска два охотника. Хотя истинную цель их пребывания на озере определить было трудно. Они и охотились, правда, но ловили также рыбу, промышляли на крючки и капканами водяную крысу — ондатру и, что особенно было чудно для местных жителей, — добывали на тихих чановских плесах водяных личинок-горбунцов, которых называли мормышем. Говорили, что этого самого мормыша, высушенного на солнце, за большие деньги покупают в городе люди, которые держат дома живых рыб в стеклянных ящиках с водой...

Говорили про этих чудаковатых охотников-горожан и еще кое-что, менее приятное. Будто в дальних камышовых крепях выслеживают они лебединые выводки и стреляют птиц единственно ради знаменитого лебязьего пуха, который сбывают в городе на черном рынке чуть ли не на золото. Всяко поговаривали, да людям только верь...

Прожили охотники на озере всю весну, лето и осень, лишь изредка отлучаясь по очереди в свой город, — отвозили добычу.

— Ну вот и повстречалась я с одним из них однажды весенним утречком, — рассказывала Марьяна. — Крепок парень, чернявый — на татарина маленько смахивает. А глаза — дак прямо черные угли — так и прожигают. Повстречалась и сразу же втюрилась по уши — раз и на веки вечные... Видно, в родну матушку свою удалась — такая же шалая. Она ведь, матушка-то моя, и одного месяца после гибели тяти не протянула — от тоски-присухи исчахла... А мне уж двадцать три годочка, а я, акромья слюнявой бульдожьей морды того уполномоченного, и мужика-то настоящего первый раз, почитай, увидела. Мои-то женишки на войне все остались... Так и началась наша любовь, да скоро кончилась. Хотела песенками своими удержать ясна сокола, а ему оне, мои песенки, — что вой ветра в чистом поле... А боле держать мне его было нечем. Все ему отдала, на все унижения пошла, — сама недоедала, у ребятишек, сестренек младших, кусок из горла вырывала, чтобы ему на самогонку обменять. А работала как — не приведи господи! Вот и дошла: одна кожа да кости остались. Кому такая нужна? В огород вместо чучела?

Марьяна помолчала, глядя пустыми глазами в печурку, где под сизым ворохом пепла копошилось еще что-то живое, огнисто-алое, и бледный тонкий лик ее будто этим умирающим огоньком вдруг озарило: она улыбнулась, светясь зелеными глазами, и даже что-то наподобие румянца проступило у нее на щеках.

— Нет, ты не подумай чего... О нем я плохого не скажу, — заторопилась она. — Попервости-то он ко мне всем сердцем, как хорошо у нас все было! Сколько вешних зорек встретили на озере! А зори здесь... Все алое, и не поймаешь, где небо, а где вода. Рыба плеснется — искры летят, будто кресалом по

камню ударили... А он такой чудак был: брошу, говорит, свой вонючий город, навсегда приеду сюда жить, охотничать буду, рыбалить. Женюсь, говорит, на тебе... Даже клятву давал... Ну, а дальше уже неинтересно, — снова померкла Марьяна. — Осенью, ближе к холодам, как уезжать им к себе в город, — он тоже ко мне похолодал. Избегать стал, вроде как прятаться. А я совсем извелась, на виду стала таять, как свечка восковая...

Марьяна тихонько всхлипнула, и тут вдруг будто прорвало ее. Она ничком повалилась на жердяные нары, на перетертую в труху солому и забилась в судорогах, а изнутри накачивали к горлу, душили ее рыдания.

— А теперь че?.. Теперь ничего больше не будет! — вскрикивала она сквозь удушье. — Теперя-ка мне больше не жить!..

5

Вскоре Марьяна собралась домой, в свою деревню Тополёвик. Она совсем успокоилась, только изредка глубокие всхлипывания сотрясали все ее худенькое тело. Так всхлипывают заплакавшие дети.

А я после ее ухода уснул в жарко натопленной избушке тяжелым беспмятным сном и проспал до вечера. Нечего было и думать о том, чтобы попасть сегодня домой. Если даже наши и приезжали на приозерные луга за сеном, то приезжали обыденкой и давно уже уехали назад. Я решил заночевать снова на озере, поохотиться вечернюю зорю.

На берегу пустынно и тихо. Ни ветерка, ни гомона птиц.

Слева водная гладь выпукло уходит за горизонт, справа бесконечно тянутся рыжие камыши. Над камышами кружат молчаливые чайки. На закате солнца выдаются в природе такие вот тихие минуты. Все вокруг замирает, словно бы в ожидании чего-то таинственного, что вот-вот должно случиться. Затихает ветерок, умолкает все живое. Но ничего не случается, просто в эти мгновения солнце уходит за горизонт.

Вот оно, сумеречно-алое, идеально круглое, коснулось озерной глади и словно бы разбилось о нее, хлынуло в воду алым потоком и, вытекая, сплюснулось, стало меркнуть.

И сразу раздаются резкие крики чаек, они мельтешат вдали и кажутся черными на фоне красного неба.

Я присел у воды на мягкую холодную кочку. Пахло рыбой, камышовой гнилью, мокрым песком, с озера тянуло прохладой глубинных вод. Оно недвижно и мрачно, потому что небо снова завалено темными тучами, издали, с востока, надвигается, разбухает аспидная чернота, — и водный простор кажется диким и древним, как на картинках о грозных временах варяжских.

Мне вспомнился бледный иконописный лик Марьяны, неизбывной печалью туманились ее зеленоватые прекрасные глаза...

И показалось даже на миг, что и Марьяна, и дивная песня ее — это всего лишь сон, призрачный сон в глухом, диком тумане...

СПАСИ И СОХРАНИ

Рассказ

1

Поздняя, поздняя осень... Кажется, само небо свалилось на землю, накрыло непроницаемой мутью, из которой то сеется холодная морось, то по-мышинному вкрадчиво шуршит снеговая крупица в стылой ломкой траве.

В деревне об эту пору каждый день у людей завершается огнем. Намерзнешься к вечеру, промокнешь до нитки — и какой желанной, ничем не заменимой становится нехитрая печурка, в которой ядрено потрескивают дрова, гукает пламя, и сухое березовое тепло ласкает, нежно оглаживает съжившуюся от холода душу. Иной раз и задумаешься: а много ли человеку для счастья надо?

Квадратное жерло печурки дышит жаром, чугунная плита раскаляется до малиновой прозрачности, неутомимые языки пламени сплетаются в причудливые узоры — и все тело обмякает, сладкая дрема обволакивает мозг.

— Господи Иисусе, спаси наши души грешные, — шелестит за занавеской древний голос старухи. — Матерь наша Пресвятая Богородица, отринь людей злые духи, спаси и сохрани жалкие чада твоя...

Старуха начинает бормотать все быстрее, будто соревнуясь с разгоревшимся пламенем печурки, и за треском и шипением поленьев уже невозможно разобрать ее слова, только доносится слабый шелест: с-с-с, ш-ш-ш... Но в этом шелесте, как в шуршании листьев и трав перед грозой, все нарастает и нарастает тревога. Блаженная сонливость проходит, я напрягаю слух, пытаюсь разобрать молитву, творимую в пяти шагах от меня, за ситцевой цветастой занавеской.

— ...Царица Небесная, упаси мово Никитушку, оборони его от ворога лютого, сохрани его на земле, под землей, во глуби окияньской... Спаси и помилуй, Пресвятая Богородица, единственное чадо мое...

От этого безумолчного шепота начинает колючим холодком обдавать спину, я знобко передергиваю плечами, кутаясь в телогрейку, а печурка мирно потрескивает дровами, но в завитках пламени уже чудятся мне горящие города и села, разрывы бомб, бегущие куда-то люди, в смертельном ужасе воздевшие руки к раскаленному докрасна небу...

Чтобы избавиться от страшного видения, я крепко закрываю ладонями лицо, но вижу сквозь пальцы, как ало плавится и течет металл, — или то струится кровь людская?

Я поднимаюсь от печурки, бью ногой, с трудом открывая набухшую дверь, и выхожу на кособокое крылечко. Давно погас короткий осенний день, но в стороне заката, меж толстых тяжелых туч, еще видна сизая полоска — словно пепел от сгоревшей зари. А вокруг уже темно, и я с надеждой смотрю на эту узкую щель в черных тучах, она кажется мне единственным выходом из промозглой мглы к свету и свободе.

И я думаю, недоумеваю: что мне в ней, в этой полуживой старухе? Что за магическая сила в ее бессвязной, бестолковой молитве? Она и говорить-то уже не в силах — лишь тихо шелестит ввалившимися сухими губами. Старухе за восемьдесят, спина ее сгорбилась и окостенела, лицо обтянуто темной от древности кожей, глаза и щеки провалились, и при свете лампы, бросающей резкие тени, маленькая голова ее жутко похожа на костяной череп.

Что мне в этой старухе? Взять и уйти сейчас из ее мрачной кривой избушки, — вон сколько в деревне уютных домиков, окна которых приветливо светятся разноцветными занавесками. Но я возвращаюсь в избушку и снова сажусь к огню. Я не могу уйти от старухи.

2

Мое знакомство с ней было странным. Прошлым летом отдыхал я в деревеньке, затерянной в сухом сосновом бору на правобережье Обского водохранилища, которое местные жители называют не иначе как морем. Поселился в пустующем домишке, — их здесь немало, ветшающих, с накрест заколоченными окнами: деревня ведь из ряда неперспективных. Устроился я неплохо.

По утрам будили меня петухи. Я вскакивал с постели, включал транзистор и под звуки бодрого марша шлепал босыми ногами по прохладным щекотным половицам, приседал, ложился на живот, усердно прыгал к потолку, повинуюсь командам далекого московского диктора. После зарядки, вспотевший, выскакивал во двор и бежал, утопая по щиколотки в холодной пыли, вниз по кривой улочке к морю.

Село уже просыпалось; в этот ранний час то там, то здесь розовыми столбами тянулись ровные дымы в безветренное светлое небо да весело полыхали окна, зажженные жаркими жерлами могучих русских печей.

А море еще спало под пуховым одеялом тумана, и я бросался с разбегу в недвижную воду, и ледяная влага обжигала разгоряченное тело. И как блаженны были те минуты, когда стоял я на берегу, обтирался суровым льняным полотенцем, вдыхая напоенный прогорклым туманом воздух, чувствуя свежесть и силу в плечах, ощущая трепетное биение каждой жилки...

Назад я возвращался по той же кривой улочке и всякий раз видел у крайней избы маленькую сгорбленную старуху. Она словно караулила меня и, когда я проходил мимо, поднималась с завалинки, опираясь на батожок, и долго смотрела вслед из-под надвинутого черного платка. Я чувствовал спиною этот

пристальный тоскливый взгляд, и мне становилось не по себе; казалось, что несу я в груди ликование молодости и здоровья мимо чьего-то большого, неизбывного горя. У поворота я оборачивался — старуха все так же стояла неподвижно, налегая впалой грудью на свой батожок, и здорово издали напоминала свою избенку, которая тоже была кособока, вся в подпорках и тоже глядела мне вслед из-под темного козырька соломенной крыши подслеповатыми, глубоко запавшими оконцами...

Однажды старуха вышла на дорогу и преградила мне путь.

— Здравствуй, бабушка, — сказал я.

— Курочку я седня зарубила, сынок, — сообщила в ответ старуха, как-то просительно, снизу вверх заглядывая мне в лицо.

Я нерешительно топтался на месте, прикрывая полотенцем оголенное до пояса тело, и не знал, что нужно от меня этой странной старухе.

— Одна была курочка-то, да не жалко для тебя, — снова заговорила она. — Больно ты на Никитушку, сынка мово,ходишь, — такой же был здоровый да черный.

— Где же он, Никитушка-то, теперь?

— А где ж ему быть? На войне и сгинул. Уж полвека минуло...

3

Вскоре я уехал домой, в свой город, но снова мечтал побывать в этой деревеньке. Однако нынче смог вырваться только поздней осенью. Жить в заброшенной избе было теперь холодно, и я направился к знакомой старухе. Она меня сразу узнала и приняла так, будто отлучался я всего на день. Ни о чем не спрашивая, ожила, засуетилась старая, шаркая непослушными ногами по избе, гремя ухватами в кути, у русской печки. Скоренько собрала поесть, а сама встала напротив, подперев щеку ладонью, — в извечной горестной бабьей позе. Неловко мне, зябко было пристальным взглядом ее слинявших глаз, которые влажно поблескивали из глубоких темных глазниц. Но столько неизбывной тоски было в этом взгляде... Опять, должно быть, видела она во мне своего Никитушку.

Кто он такой, что он был за человек, если и по прошествии стольких лет остался живым, не померк в памяти старухи? Но на мои расспросы она отвечает неохотно.

— Какой он был, Никитушка-то?.. — шелестят ее пепельные, как пересохий пергамент, губы. — А вот как ты — высокий да чернявый.

— Где он погиб, бабушка, в каком месте?

— Погиб? Нет, Никитушка не погиб. В похоронке было сказано: «Пропал без вести...» Значит, живой.

— Почему же не дает знать о себе? Уж сколько времени прошло.

— Живой он, живой! — убежденно, как молитву, шепчет старуха. — Люди сказывают, много наших русских в чужих странах на рудниках под землей робят — в неволе... Оттуда весточку не подашь. Живой он, Никитушка!..

Спорить с ней — что в ступе воду толочь. Я спрашивал о ней у соседских стариков. Да, был у старухи единственный сын Никита. Что это был за

человек? А кто ж его знает, не успел он как человек проявиться-то: восемнадцати не было, когда забрали на войну...

Целыми днями я рыбачил на море или бродил по пустому сосновому бору. Впрочем, изредка попадались здесь рыжики — крепкие и вправду рыжие, с темными разводами, напоминающими годовые кольца на срезе дерева. На ощупь грибы холодные, хрустко-упругие и тяжелые, словно литые из червонного золота. Они источали тончайший аромат хвои и прелой листвы и, срезанные, продолжали на ладони дышать прогорклым утренним туманом. На срезе ярко проступало морковно-оранжевое кольцо.

Мне вспоминалось детство. Я доставал спичечный коробок с солью и посыпал ею оранжевую ранку рыжика. Сразу же появлялись светлые капельки, будто алые горячие слезы. А уже через час гриб был готов. Его можно было съесть сырым или проткнуть прутиком и поджарить на костре. Приготовленный таким образом рыжик нельзя сравнить по нежному вкусу и изумительному аромату ни с каким другим грибом на свете.

Когда не было дождя, я рыбачил с лодки. Это были редкие часы затишья. На воде устанавливалась такая гладь, что даже угадывался ход крупной глубинной рыбы. Но клев был неважный. В эту пору рыба обычно вялая, больше заботится о том, чтобы найти глубокую илистую ямину для зимовки.

И все равно рыбачить было интересно. Я опускал в воду крючок с наживкою, и тоненькая леска, соединявшая меня с дном водоема, становилась как бы телефонным проводом, по которому мне сообщалось все, что делалось там, в темных глубинах. А там закипали иногда страсти роковые. Вот чуточку дрогнул чуткий поплавок из гусяного пера — ага, подошел, наверное, крупный медлительный лебедь, сейчас обозначится осторожная, но уверенная его потяжка: леска косо пойдет в сторону, обычно против волны. Но нет, что-то помешало рыбине, поплавок снова встал мертво, словно припаялся к воде, но вскоре мелко задрожал, ныряя и выскакивая, — ясно дело, налетел суетливый ерш, бестолково тербит червя, но тут и сам на крючок попался, рывками повел поплавок в сторону. Вот уж поистине прохиндей: сам не гам и другому не дам, только рыбачить мешает. Но что это? Поплавок дернулся и вдруг резко пошел вниз, а леска сразу натянулась до звона, выгибая в дугу удилище. Откуда взялась у ерша такая сила?! А вот откуда: ерша с налету схватил крупный окунь и попался сам. Ну, теперь самая рыбалка начинается! Я приготовил сачок. Окунь рывками стал кидаться в стороны, подныривая под лодку, уходил вглубь. Давай, давай, голубчик, повадки твои мне давно известны! Сейчас побуянишь, выбьешься из сил — и всплывать начнешь. Точно: через несколько минут буруном вскипела вода, из нее колесом взметнулась зеленоватая красноперая рыбина. Приземлилась она в мой сачок...

Но ведренная погода держится недолго. С запада снова наплывают низкие темные тучи, волоча под собою русые космы дождей. На воде сначала слышится отдаленный шорох, потом по зеркальной глади пробегают на гусиных лапках первые пробные капли. И вот дождь накатывает валом, стеною, все звуки заглушает сплошной звенящий шум, а вода ошетинивается острыми, как стеклянные иглы, фонтанчиками.

Я гребу к берегу, но домой не очень-то хочется, как только представлю мрачную избенку и беспрестанно бормочущую свои тоскливые молитвы старуху. Кутаясь в плащ, брожу еще по берегу, пытаюсь разжечь костерок под обрывом, чтобы поджарить рыжики, если нахожу их, и только поздно вечером возвращаюсь в деревню, насквозь промокший и продрогший.

Поднимаюсь вверх по кривой улочке. Под резиновыми сапогами смачно чавкает жидкая грязь, она маслянисто блестит в полосах света, падающего из окон. Из печных труб вместе с дымком наплывают разные запахи, от которых не успеваешь сглатывать голодную слюну и по которым можно определить, что готовят на ужин в той или иной избе.

Вот здесь варят картошку с бараниной, а тут пекут рыбный пирог на печном поду, на хрустких капустных листьях... Заманчиво светятся синими, красными, зелеными, бордовыми занавесками окна изб; так и тянет зайти в тепло, в светлый уют какого-нибудь домика, посидеть, поговорить о жизни с добрыми людьми за чашкой чая, но я, оскальзываясь и чертыхаясь в темноте, тащусь на самый край села, к слепому желтому огоньку, еле видимому из окна кособокой, в подпорках, избенки.

Старуха встречает меня всегда одинаково радостно. Начинает суетиться, на темном лице ее чуть теплится подобие улыбки — будто озаряется оно последним лучиком заходящего солнца.

Я стаскиваю с себя и развешиваю над печуркой мокрую одежду, а сам сажусь поближе к огню. На торцах березовых поленьев накапливает желтая пена, языки пламени боязливо слизывают ее, дрова шипят и уютно потрескивают.

— Царица Небесная, Пресвятая Богородица, спаси, оборони мово Ники-тушку, — шелестит за ситцевой занавеской древний старушечий голос.

Я крупно вздрагиваю, стучу зубами и придвигаюсь еще ближе к печурке — наверное, выходит из меня накопившаяся за день стужа. И вдруг пронзительная догадка вспыхивает во мне: да ведь она, эта полумертвая старуха, только и жива своей надеждой! Да, да, отними у нее эту веру, эту надежду — и сразу же оборвется последняя ниточка, которая еще связывает ее с миром живых. Это какое же надо иметь сердце, какое терпение, чтобы изо дня в день, из ночи в ночь — сорок восемь бесконечно долгих лет, почти полвека...

Я накидываю телогрейку, с пушечным грохотом открываю набухшую дверь, быстро иду к морю. Черная вода, черное небо. Спит уже деревня — ни звука, ни огонька. Только единственное желтое пятнышко пробивается с трудом сквозь глухую осеннюю тьму. Оно тревожит, тянет к себе...

И я преклоняюсь перед великой любовью и верностью материнского сердца.

1995 г.

СПОЛОХИ

Журнал «Сибирские огни», помимо повестей и рассказов, на протяжении длительного времени печатал «фирменные» «Сполохи» Петра Дедова — наброски, заметки, дневниковые записи, короткие эссе и лирические миниатюры. Эти «сполохи», как отмечала во вступительном слове к одной из публикаций вдова писателя Ольга Григорьевна Дедова, «прежде всего призваны передать непосредственное ощущение, мгновенную догадку, озарение, удивление».

Мы предлагаем вашему вниманию несколько «сполохов», не вошедших ранее в журнальные публикации.

НАРОДНАЯ ТРОПА

Годикам к пяти, когда научился я читать по слогам печатные буквы, то читал все подряд, что попадалось на глаза. Но это «все» давным-давно позабылось и только вот что осталось в памяти навсегда:

*Ветер по морю гуляет
И кораблик подгоняет,
Он бежит себе в волнах
На раздутых парусах.*

Так я впервые открыл «своего Пушкина». На всю жизнь и только для себя.

Потом все, что было назначено мне судьбою, пошло своим чередом: отрочество с «Русланом и Людмилой», «Цыганами», «Братьями разбойниками». Юность, первая любовь и... «Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты...» Расставания и редкие встречи с «малой родиной» — «И вновь я посетил тот уголок земли...» Зрелость с «Евгением Онегиным» и «Борисом Годуновым»... И вот уже суровая, беспощадная старость на пороге, но и тут нахожу утешение в Пушкине: «На свете счастья нет, но есть покой и воля»... Где ты, кораблик моего детства, за какими скрылся житейскими волнами, ау?!

Пушкин многогранен, как сама жизнь. Пожалуй, нет такого человеческого чувства, которого не коснулся бы его гений. Любовь и разлука, грусть и радость, «разгулье удалое» и «сердечная тоска» — все испытал на себе и блистательно выразил наш поэт. Можно даже сказать так: Пушкин — это состояние души русского человека.

Именно — русского! Отсюда и возникает удивительный парадокс. В свое время посчастливилось мне побывать в Англии, и там во время встречи, не

помню уж в каком колледже, мне был задан традиционный вопрос: каких я знаю английских писателей? Я назвал и попросил собеседника назвать русских.

— Достоевский, Лев Толстой, Чехов, Шолохов, — был ответ.

— А Пушкин?

— Слышал о таком, но у нас он почти не издается.

Как же так? Великий Толстой считал Пушкина своим учителем, а Достоевский прямо так и сказал: «У нас всё ведь от Пушкина». И только сейчас я стал осознавать, что далеко не каждый гениальный писатель может быть полностью понятен в любой стране и любому народу. Пушкин настолько естественно и достоверно отразил эту «загадочную русскую душу», что для иного иностранца она загадкой и осталась, то есть тайною за семью замками, как, впрочем, и сама Россия.

Вот что об этом писал сам Пушкин: «Поймите же, Россия никогда ничего не имела общего с остальной Европою; история ее требует другой мысли, другой формулы...» Не отсюда ли родились строки Тютчева: «Умом Россию не понять...»? Точно так же и Пушкина, правдиво отразившего в своих творениях Россию, русскую душу, не каждому уму дано понять, а на веру западный человек всегда-то был скуповат...

Эх, были бы поумнее да пообразованнее наши горе-демократы-реформаторы, да учили бы это пророчество русского гения, да сами душою были бы не западники, а коренные русичи, — разве такое могло бы случиться с нашей великой (в прошлом) державою? Разве стали бы они рубить по живому, корезить и кроить на забугорный манер естественное и уникальное образование, которое зовется Россией?!

Но это особый разговор. А нам бы хоть немного приблизиться к пониманию того, как удалось одному человеку олицетворить собою всю нацию, стать ее символом и знаменем.

«Родник», «родина», «народ» — слова одного корня. Эту корневую основу и положил в свое творчество Пушкин. После него ни один из русских писателей не стал более народным. Даже выходцы из народа Горький и Шолохов не выразили с таким пониманием, с такой мощью и любовью его сущность, как это сделал дворянин Пушкин. Дело, значит, не в сословии, а в душе.

Давайте посмотрим, кому Пушкин, живя и возвращаясь в светском обществе, где и говорили-то больше по-французски, а русский язык считали языком черни, — кому поэт отдавал свое предпочтение и любовь? Вы не ошиблись: крепостным крестьянам, а потом лесным разбойникам под предводительством Дубровского, поющим древнюю, как сама Русь, песню «Не шуми, мати, зеленая дубравушка». Или бедному станционному зрителю. Еще десяткам униженных и оскорбленных. Да что там реалистические повести и рассказы! Сказочный Балда, идущий сам не зная куда, и тот оказался умнее не только попа, но и самому главному Бесу чуть шею не свернул (вот бы сегодня на наших-то главных бесов да такого вот Балду!).



Стихотворение «Няне»: «Подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя...» Пушкин был влюбчивым, многим женщинам, в которых влюблялся, посвятил свои блистательные стихи. Но ни об одной из этих женщин не сказал он с такой пронзительной нежностью, как написал об этой безграмотной крепостной старухе! Да и во всей русской литературе (а в мировой?) найдется ли более живой и обаятельный женский образ, такой по-матерински родной и чистый, как этот... «И медлят поминутно спицы в твоих наморщенных руках».

О Пушкине во всем мировом пушкиноведении написано, может быть, в десятки раз больше того, что написал он сам. Изучено и истолковано почти каждое его слово. Я же здесь высказываю свое личное понимание и виденье великого поэта, потому и не стремлюсь «объять необъятное», а, напротив, обхожу стороной наиболее известные его шедевры, такие как, например, «Евгений Онегин» или «Борис Годунов», его бессмертные поэмы, стихи, сказки.

Повторяю: у каждого свой Пушкин, поэтому, возможно, кто-то и в чем-то не согласится со мною, ну хотя бы вот с этим моим утверждением о том, что любимым героем самого Пушкина был бунтарь и предводитель восставшей черни Емельян Пугачёв. И хотя по цензурным соображениям того времени автор рисует его подчас излишне жестоким, обзывает разбойником, супостатом и душегубом, но... вчитайтесь, всмотритесь в этого самобитного, незаурядного человека — сколько в нем мудрости, своеобразной доброты, справедливости и высокого достоинства! Истинно русская душа со всеми ее метаниями, дикими порывами, печалью по вольной волюшке, мечтами о счастливой доле!

В Пугачёве — обобщенный, типичный русский характер, ведь недаром же Пушкин посвятил ему самые зрелые годы своей творческой жизни и ни одному больше из своих многочисленных персонажей не уделял столько внимания. Им была проделана огромная работа в архивах, с целью сбора материалов совершена отнюдь не комфортабельная поездка на перекладных в жаркие оренбургские степи, после чего написано капитальное исследование «История Пугачёвского бунта» и бессмертный шедевр мировой литературы — повесть «Капитанская дочка». (Хотя думается мне, что название это Пушкин придумал опять же из цензурных соображений: при чем здесь Маша Миронова, когда вся повесть о нем — о Емельяне Пугачёве? Его присутствием или даже отсутствием пронизана каждая строка повествования. Вожатый, вождь...)

Думается, Пушкин создал образ Пугачёва в назидание нам, его потомкам, и всем, кто против нас. Не дай вам бог увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный, предупреждал поэт, предвидя наше время за два столетия. А каким же еще должен быть бунт доведенного до крайности, разгневанного народа, ограбленного и униженного, когда растаптывают его честь и достоинство?

Ко всему сказанному надо еще добавить, что Пушкин является создателем современного русского языка. Мы и сегодня мыслим и говорим по Пушкину. И в наши черные дни засилья иностранщины сквозь бетонную бессмыслицу иноземных штампов, как живые побеги взрывают асфальт, так и восходит к нам родниковой чистоты пушкинское СЛОВО. «Родник», «родина», «народ» — слова одного корня...

НЕПОКОРНЫЙ ТОПОЛЕК

Весною на тротуаре против нашего дома неожиданно вздулся бугорком, а потом лопнул асфальт. В трещинах показались бледно-зеленые листочки. Дело в том, что у обочины тротуара стоит ровный ряд тополей и какой-то из них пустил отросток от корня.

«Угораздило же тебя пробиваться к солнцу в таком неподходящем месте, — подумал я, трогая нежный, хрупкий росток. — Уничтожат тебя здесь, как пить дать — уничтожат».

И действительно, вскоре пришли рабочие, убрали обломки асфальта и среза-ли растение, а на этом месте положили заплатку. Заплата долго чернела на сером тротуаре, пока не зашаркали ее ногами прохожие. И каждый раз когда проходил я мимо, то думал о таком нежном и таком мужественном ростке, кото-рый сумел взорвать мощный слой крепкого, как железо, асфальта...

А через несколько дней росток снова разрушил асфальт. Тогда рабочие выдолбили ломом яму на всю ширину тротуара, забили ее камнями и только потом покрыли асфальтом.

«И теперь уничтожат тебя, бедняга, — грустно подумал я. — Не положено в городе, чтобы дерево росло там, где ему захочется...»

Кажется, надежно был похоронен тополек. Но примерно через неделю он снова дал о себе знать. На этот раз нежный росток пробился у самой кромки тротуара и быстро пошел в рост. Будто само всемогущее солнце тащило его из земли!

БОКОГРЕЙ

Прибежал с улицы сынишка. Мороз надрал щеки — огнем пылают.

— Папа, а почему воробьи черными стали?

— Подумай сам почему.

Долго думает, шмыгая носом, но маловато еще опыта и наблюдений. При-ходится объяснять, что воробьи вынуждены прятаться от зимней стужи в печ-ных трубах, где тепло, да только сажки много...

Февраль — месяц контрастов. Недаром существует такое присловье: «Февраль-бокогрей один бок медведю нагрел, а в тени мороз хватает за нос». После январского глухозимья сейчас нет-нет да выдастся ветреный солнечный денек и по-настоящему запахнет весной. А ночью снова мороз затрещит по лесу. Точные эти слова — «мороз затрещит». Действительно, в эту пору можно услышать в ночном лесу треск: охлаждаясь, трескаются, рвутся повдоль стволы деревьев, нагретых солнцем за день. Это явление называется морозобоем, и чтобы предохранить деревья, особенно плодо-вые в садиках, нижнюю часть стволов заблаговременно обмазывают извест-ковым раствором.

Но наступает утро нового дня, пригревает солнце, под его лучами на ело-вых шишках взъерошиваются чешуйки, из-под которых высыпаются семена. Ветер гонит их по насту, иногда на десятки километров от родного дерева, и если не попадутся семена на глаза щеглам или синицам — из этих крошечных «мотыльков» по весне могут зачатся могучие деревья...

В поле, в лесу — снега, снега... Мы привыкли считать, что снег — это только холод. А ведь он способен сохранять тепло земли, укрыв ее, словно пушистой шубой. Не будь снега — вымерзли бы корни трав и кустарников, озимые посевы пшеницы и ржи.

Но, с другой стороны, глубокие снега и толстый лед — настоящее бедствие для озерных рыб. Замор — кислородный голод — в это время губит не только их самих, но и потомство: почти у всех видов рыб в феврале появляется икра. А налим уже отнерестился. Начинается у него усиленный жор — активный клев на удочку, особенно по ночам. На блесну понемногу берет окунь, даже щука. В конце месяца на червя или мотыля хорошо ловятся ерш и плотва.

Эти советы даю с корыстной целью: чем больше выйдет на озерный лед рыболовов-любителей, тем лучше для рыбы. Через пробитые лунки вода обогащается кислородом, только просьба есть: уходя, прикрывайте лунки от замерзания соломой или ненужным тряпьем.

Постепенно оживает угрюмый заснеженный лес. Настраиваясь на весенний лад, пока еще робко, но все же начинают пробовать свои голоса зимние птицы. Вон рассыпали хрустальные колокольчики синицы, дятел выбивает барабанную дробь, облюбовав сухой и звонкий сосновый сук. Не корма ради старается — это песня у него такая. Даже сорока стрекочет как-то по-новому — музыкальнее, что ли. Или это потому так кажется, что нет у нее пока более достойных соперников?

Почувяв близкую весну, повеселели белочки. В поисках своих подснежных кладовых они все чаще покидают теплые гнезда, устроенные в дуплах и высланные сухой травой, перьями, шерстью — даже в сильные морозы там сохраняется тепло.

Но, пожалуй, лучше других приспособились к суровой зиме ежи, барсуки, суслики, тушканчики, хомяки. Спокойно спят они в своих подземных норах — и ни горя тебе, ни заботы. Хомяки, правда, изредка просыпаются, чтобы поесть зерна, предусмотрительно заготовленного с осени.

А медведицы к концу месяца ждут пополнения в семьях: прямо в берлоге у них нарождаются детеныши, чаще всего — пара, весом не более полукилограмма каждый. Солидной, дородной мамаше, хотя сама она не ест и не пьет в берлоге всю зиму, не стоит большого труда прокормить таких крошек до выхода на волю: новорожденный составляет всего четверть процента от ее веса. Сравните: новорожденный теленок в 65 раз тяжелее медвежонка, а ведь корова весит не намного больше, чем медведица.

В феврале у волков, лисиц, зайцев начинается брачная пора. В лесу теперь можно услышать хриплое, короткое взлаивание: оживились лисицы, мечутся, позабыв об осторожности. Издали — словно языки пламени играют в черных сквозящих кустах: это мелькают огненно-рыжие лисьи хвосты.

Храбрее становятся зайцы. Между самцами тоже идут ожесточенные баталии. Но если оружием у волков и лисиц являются зубы, у лосей — рога, у глухарей — крепкие клювы, то зайцы дерутся своими сильными задними лапами. Самец норовит перепрыгнуть с разгону через противника и лягнуть его по голове. Такая заячья чехарда разыгрывается обычно лунными ночами, и наблюдать ее — что в цирке сидеть.

Для всех одинаков суровый закон природы: выживает и побеждает сильнейший. Природа добра и мудра: даже в лютые морозы живет в ней живое!

УТРО ГОДА

Хотя Витька, мой сосед по квартире, клялся и божился, что прилетели скворцы и что он сам их видел, я не поверил: рано. А на днях приехал мой знакомый из Кулунды. Говорит, прилетели утки и гуси, садятся на оттаявшие плесы и степные лужи, а на вечерних зорях уже постреливают браконьеры.

В ту ночь я долго не мог уснуть. Стоял у черного окна и смотрел, как на влажном асфальте плещутся огни от фар поздних такси. Виделся мне лес, сырой, неприбранный после снега, я даже ощущал ни с чем не сравнимый аромат мокрой тальниковой коры. Наверное, вот сейчас, близко к рассвету, к самой околице села подходит мордастый лось, чутко вздрагивает ноздрями, улавливая незнакомые запахи перегнившего навоза и березового дыма, долго стоит, словно задумавшись, и, вздрогнув от собственного шороха, напролом мчится через чащу, унося пудовые рога.

Утром я не выдержал: отыскал свой старый рюкзак и сел на первую попавшуюся электричку. Мне было все равно, куда ехать, только бы в поле, в лес, на этот великий праздник пробуждения природы. Сошел у деревни Петушки. Может быть, потому что мне понравилось название остановки: Петушки.

Сразу за станционными домиками распахнулась неоглядная степь, покрытая бурой прошлогодней травой, и в лицо ударил хмельной ветер, пахнущий талым снегом, пряным ароматом земли и чем-то еще, таким родным и близким с детства, что к горлу подкатил горячий комок. Идти было трудно, степная почва податливо осклизала под сапогами, и скоро я почувствовал, что взмокла спина. Присел на просохший глинистый бугорок и снял шапку. Из нее валил пар, как из рыбацкого котелка.

Только теперь огляделся, прислушался. В вышине заливались невидимые жаворонки, будто подвесил кто-то к голубому куполу неба серебряные колокольчики. Рядом, в молодом березовом колке, еще лежал девственный рассыпчатый снег, исчерченный синими тенями, а под ним булькала, пробиваясь в прошлогодней траве, чистая и студеная вода — снеговица. Березовые стволы были розовыми, словно сквозь нежную кору проглядывались весенние соки. Мне показалось, что я слышу, как гудят в стволах эти соки. На высоком пне образовалась розовая шапка из пены, сок струйками стекал по растрескавшейся коре, и бражный его запах кружил голову.

Потом я долго еще бродил по полям и перелескам, наслаждаясь тишиной и свободой. Глядел, как кружатся над пустыми гнездами грачи, слушал, как стрекочут горластые сороки, предупреждая все живое об опасности — о приближении человека. И где им, сорокам, было понять, что человек этот совсем для них не опасен, что пришел он сюда не с целью истребления, а единственно затем, чтобы поздороваться с деревьями и травами, с птицами и зверьем.

...Поздно вечером я возвращался к полустанку. Светло и празднично было на душе. И я думал: чтобы быть бодрым и сильным, нужно чаще прикасаться к земле.

ТИХАЯ МОЯ РОДИНА

...Вот и опять я на родине, в Новоключах. Последние годы редко приходилось здесь бывать, разве только по неотложной нужде, когда ударит в сердце очередная телеграмма о смерти того или иного родственника из нашего когда-то многочисленного рода, искони жившего в этих суровых степных краях. А теперь и таких горьких весточек не стало: все мои родственники переселились за околицу села, поближе в соленому озеру, на древнее наше кладбище...

Соленое озеро. Солона вода, солона земля да и жизнь солона (народная присказка).

Озеро почти идеально круглое. Вся пресная вода нынче ушла. В войну, помню, дамбу делали вручную, всем селом. Было мертвое озеро, а сейчас какие-то красные существа в воде, ядовито-зеленый мох. Грязь и селитра далеко от берега.

Берег в «серебряных гвоздях» (нашлепки от водочных бутылок). И это тоже может о многом рассказать. Например, о том, что бутылки подбираются голодными ребятишками и стариками, что импортная водка сюда не доходит — тут невыгодно торговать частнику: народ нищий. Многие начинали, да на том и кончали. Что пьют еще больше, чем прежде.

Богородская травка, сколько с ней связано! Только принес — жена в заварку чая. В детстве — лабазник да еще солодка вместо сахара. А в конце июля богородская травка цветет крохотными лиловыми, словно вылинявшими на жаре цветочками. И вот среди выбитой коровами полянки, резуна, мятлика — среди этой рыжины — кустики богородской травки. За что ее так называли? На Троицу приносили в дом эту травку и березовые ветки.

Вот и земляки мои — как богородская трава: как ни топчут их, как ни жжет солнышко, а они выживают.

О ПАМЯТИ

— Был у нас в деревне один такой, — рассказывала мама. — По виду вроде русский, а повадки совсем не наши. Откуда взялся — никто не знает. Шибко уж хитрый был, жадный да вороватый. Обведет, окрутит так, что все нутро из тебя вытряхнет. Не пил, не курил, а всю жизнь копил и копил денежку. К старости-то совсем свихнулся: закинет, бывало, свою шапчонку в бурьян и крадется к ней ползком да на карачках, будто вор к добыче. А подох — только и оставил после себя, что корчажку с деньгами, замурованную в стене, да худую память. Спрашивается, зачем человек на свет родился? Деньги копить? Да с собой в могилу их не заберешь...

— Богатые тоже добрую память о себе оставляют, — возражал я матери. — Читала ведь про Третьяковых, Морозовых?

— Ну-у, это другие люди, — не соглашалась мама. — Эти и жили для людей, не только для себя... А что после себя оставят, к примеру, Березовский или тот же Абрамович? Ведь как ни маскируются, а денежки-то оне наши крадут, не из Америки или Израиля им посылают. Вот и рвут последний кусок из горла нищих пенсионеров да синюшных от голода деток... А еще и хвастают. Да по-божески ежели, так не Канары им надо, а нары... Или Горбачева с Ельциным взять. Какую память о себе оставили? Обездоленные люди встают и ложатся, проклиная этих тупых негодяев... По мне так: ежели видишь, что дело не получается, — брось, возмись за другое. Значит, не по Сеньке шапка... Не-ет, держатся, покуда под зад коленом не дадут. Вот она, слава какая заразная! А не подумают, чем эта слава обернется для страны, для народа...

РУКИ

...Затвердевшие от металла, большие, надежные, поистине железные руки рабочего человека.

Тонкие и умные, грациозные руки артиста, способные извлечь чарующую музыку из холодных и равнодушных клавиш.

Руки землепашца — бугристые и натруженные, как проселочная дорога в пору страды, раздавленные работой, в черных трещинах, как солонцовая земля суховейных степей.

Святые, справедливые руки наших матерей... Никогда не забыть сурового военного детства, затерянного в глухой сибирской деревушке. Где-то гремела война, а к нам доходили ее отзвуки в виде редких солдатских треугольников и более частых похоронок — казенных бумажек, с угла на угол перехваченных страшными полосками, похожими на полосы трассирующих пуль в ночи...

Сколько переделали в ту грозную пору руки наших матерей! Жали серпами рожь, держали непослушные рычаги тракторов, и норовистые кони-двулетки, взвившись на дыбы, вдруг утихали, почуяв необъяснимо могучую силу этих слабых женских рук.

А как эти руки, темные и шершавые от мозолей, могли утешить в горькую минуту, когда ласково опускались на несмышленную льняную детскую головку! И как нам порою не хватает этих самых нежных на свете рук сейчас, хотя головы многих из нас уже посеребрила седина — наследие суровой весны детства, первая предвестница недалекой уже зимы...

Да будут славны во веки веков трудовые человеческие руки!

ТОВАРИЩ ПРАВДА

В отношениях с Правдой у меня нелады с детских лет (буду писать это судьбоносное для меня слово с большой буквы).

Шла Отечественная война. В нашей глухой деревушке, затерянной в Кулундинских степях, библиотечные книги старичье растащило на самокрутки, да и мы, ученики, использовали книги вместо тетрадей: писали на

полях и между строк. И в такое вот время «книжного голода» не помню откуда попала в мои жадные руки повесть Гоголя «Тарас Бульба». Я настолько был потрясен «правдивостью» описываемых событий, что буквально потерял сон и аппетит, бредил запорожскими казаками во сне и наяву, даже заболел и слег в постель, страдая вместе с казненным Остапом, чувствуя охваченное пламенем костра, прибитое гвоздями к дереву тело старого Тараса...



Так продолжалось несколько дней, пока сельский кузнец, мой дядя Лёша, не разгадал тайну моих мук и напрямую, без психологических ухищрений, не сказал: «Врет он все, твой Гоголь-моголь! Подумай сам, как он мог подслушать за всеми казаками и разными там поляками, что они говорят, как мог даже угадать, о чем они думают?»

Однако я не скоро понял разницу между реальной жизнью и писательским вымыслом. Моя мама, Александра Тихоновна, этой разницы, думается, до конца своих дней так и не поняла... «Как это можно — выдумывать про жизнь? — возмущалась она. — Ну, другое дело — сказки, побасенки, анекдоты. А про жисть-то врать не надо ба, она ить от Бога...»

Но какой же ты писатель, если не владеешь вымыслом? Не можешь придумывать, фантазировать, сочинять, или, по-маминому, просто-напросто «врать»? Тогда уж ты раб факта — журналист, и позавидуй своей дочке или внучке, которая, играя в куклы, столько напридумывает фантастического... И как же тогда быть с пушкинским «над вымыслом слезами обольюсь»? Значит, наш гений воспринимал фантазию равно как и самую реальную жизнь?

У разных писателей разное отношение к вымыслу. Великий Иван Бунин, например, считал, что придут времена, когда литература будет существовать в виде дневников, то есть не придуманных, а реальных записей событий повседневной жизни.

Не так мыслил Эрнест Хемингуэй. Он считал, что великий писатель только тот, чей вымысел воспринимается реальнее, достовернее самой жизни.

Существует множество высказываний, разнообразных и порой противоречивых. И, на мой взгляд, подвел под этим черту наш Василий Макарович Шукшин: «Хочешь быть мастером — макай свое перо в правду. Ничем другим не удивишь».

Вот оно, самое главное в работе любого писателя, — Правда! Правда жизни. Правда вымысла. Правда образа. Горькая, жестокая, страшная. Но все-таки святая Правда!..

Владимир ЯРАНЦЕВ

С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА

Самое известное произведение Петра Павловича Дедова, роман-трилогию «Светозары», обычно оценивают по его содержанию: жизнь сибирской деревни военного и послевоенного времени глазами мальчика и подростка. Рассказывается здесь, конечно, о людях, их трудах, заботах и редких праздниках. Но нет в трилогии полной и исключительной сосредоточенности на человеке как индивидууме, его «я», внутреннем мире, психологии. Нет тут и акцента на показе тяжелой работы крестьян-колхозников с их вечно голодным и нищим бытом. Если бы все это было, то роман неизбежно приобрел бы черты очерка, произведения документального, исторического. Вообще, в рассказе о жизни села Ключи и его обитателей нет избирательности, предпочтения чему-либо одному: в поле зрения писателя весь социум, весь крестьянский мир, «община» этой деревни. Этот деревенский мир почти не ограничен от природы, он сам является ее частью, во многом живет по ее законам.

Избранный в качестве рассказчика-повествователя ребенок непосредственностью своего восприятия делает «Светозары» лирическим эпосом, на грани поэмы в прозе. Изобилие, даже избыточность этого «детского» восприятия выражается ярче всего в сравнительных оборотах, с самого начала задавая тон повествованию, словно приподнимающемуся над реальностью, романтическому. Но всегда с оглядкой на реальность будничную.

Можно составить целый каталог сравнений (как правило, человеческое = естественно-природное), следующих подчас друг за другом вереницами, каскадами. Вот только некоторые из них (далее курсив и текст в скобках мои. — В. Я.):

«Пласты едкого синего (табачного) дыма поднялись к потолку, колышутся, как *грозовые тучи*»; «ласковое, румяное, окрашенное голубоватым кольцом, оно (солнце) напоминало сказочно красивый *цветок*»; «*лемех* у плуга сияет в сумерках весеннего утра, словно голубое *зеркало*»; «дед торопливо крестился и так низко кланялся, что *борода* его, словно *красный веник*, мела по полу»; «*ребятишки горохом* сыпались на пол, *рассаживались* у ног отца, и весь *муравейник* сразу затихал»; «*плясун Ванька*... бросился на круг, вертелся *вьюном*, *взбрыкивал козленком*, *кувыркался* через голову»; «с *хлебными жаворонками*

можно было бегать по двору, подняв их *самолетиками* над головой»; «розовые снега померкли, словно *раскаленное железо* подернулось серым пеплом *окалины*»; «он (*теленок*) удивленными круглыми, как у *плюшевого медвежонка*, глазами глядел на... ребятишек»; «*кузнечики серыми брызгами* прыскали из-под босых ног»; «среди пестро разодетых подруг *Тамарка* была словно *кипрей* в скромном букете полевых цветов»; «попадется лоскут бледной, как *выгоревший на солнце бабий платок*, *полынки*».

Все, конечно, не перечислить, не выписать. Стоит, однако, обратить внимание, что по мере взросления героя сравнения становятся все более оригинальными, «авторскими». Так, «*нутро балагана*» (шалаша для козцов) сравнивается с «зеленой тьмой омота», запах «молодого сена» — с «заваренным клубничкой чаем», «шевелиющиеся звездочки» на небе — с «пчелиным клубком», стога — с «круглыми яичками», «дождевые струи» ливня — со «стеблями неведомых растений», которые «можно раздвигать руками», гладкое топорщице, выскальзывающее из рук, — с живой *щукой*, лодка на воде — с «подсолнечной скорлупкой», бросившиеся врассыпную рыбки-мальки — с «серебряными осколками» разбитой о камень бутылки и т. д.

Среди всего этого богатства сравнений, на наш взгляд, весьма важны и показательны для мироощущения человека, живущего в степи, деревенского жителя, сравнения с птицами. Ибо степь — это не только избыток пространства, земной плоскости, граничащей с небом, но и само небо как другая сторона земли, ее подобие. А зимой разница «верха» и «низа» практически стирается. Герой романа чувствует это почти метафизически, эмблематически представляя бесконечность степного пространства таким образом: «Попробуйте нарисовать степь. Зимой, например. Чистый лист бумаги разделите горизонтальной чертой... — это и будет горизонт. Нижнюю часть листа закрасьте голубоватым: степь покрыта снегом. Верхнюю часть листа тоже чуть-чуть подголубите: блеклое небо над степью. Вот и вся картина. Переверните ее вверх тормашками — будет почти то же самое» [4, с. 137]. Очевидно, это верно для любого времени года: зимой снег только подчеркивают эту особенность степного пространства. Отсюда и обилие сравнений с птицами — обитателями неба. Сравнения эти разнообразны, но можно увидеть в них, скажем так, обращенность либо к земле, либо к небу.

«Земное» свойственно людям хищнической породы, ограниченным только «материальными инстинктами». Это Сашка Гайдабура, деревенский удалец и силач, лучше всех умеющий объезжать самых диких и упрямых коней. Отсюда красноречивый образ: «Полы Сашкиного пиджака развевались по ветру, и казалось, что это завис над конем, настигает его неотступно *орел с распростертыми крыльями*» [4, с. 47]. Конь, традиционный для степи образ, здесь превзойден более сильным образом орла. Птицы, знакомой и с небом, и с землей. Судьба Сашки подтверждает, что его «птичья» природа все-таки ближе земле, чем небу: война лишила его ног, он буквально ползает по земле на своей тележке, а несчастная любовь приводит к алкоголизму, завершающемуся самоубийством. Которое не оставляет, согласно христианской религии, шансов оторваться от земли и после смерти.

В Сеньке Палкине, деревенском прохиндее, заострены черты другого хищника: умеющий только красиво плясать, он раскидывал в пляске руки, как в полете, и «раскаленными углями горели его *желтоватые ястребиные глаза*» [4, с. 182]. Судьба его тоже безрадостна, но здесь уже больше вины самого Палкина, чем внешних обстоятельств.

Дедушке героя Семёну Макаровичу, человеку нравственной, трудовой, героической жизни, «крылья» даны для большего, чем он мог совершить. Но груз годов уже слишком велик: буквально окрыленный доверием односельчан начать посев вручную, он «шел, будто в струях золотого дождя», — пишет П. Дедов. Но «когда отдалился, то стал похожим на *черную птицу, которая машет и машет большими желтыми крыльями*, но не может никак взлететь» [4, с. 110].

Марьяна, встреченная героем однажды на охоте, молода и горячо влюблена в своего непутевого «хрипатого мужика», на свидание с которым готова «*пять верст как на крыльях отмахать*». Туман — любимая погода Марьяны: «Ничо не видно, ничо не слышно, и *будто летишь куда-то* — ни неба, ни земли» [4, с. 383].

Но главным носителем поэзии полета является сам автобиографический герой книги Сергей Прокозов. Самым первым и сильным впечатлением, определившим небесность его мировосприятия, были *светозары* — зарницы, так хорошо рифмующиеся со словом «птицы». Характерно, что начинают они «*полыхать* ночами над степью», «когда живыми соками земли наливается хлебный колос». Это наглядное подтверждение взаимосвязи — похожей на таинство, чудо, — жизни земной и небесной, невозможности определить, что здесь первоначально, — настолько все проникнуто гармонией, соразмерностью того, что названо «верхом» и «низом». Сам П. Дедов расшифровывает «светозары» как слово, вбирающее в себя «и понятие зрелости (зреют хлеба), и озарение (сплохи в ночи), и зарницу, и самое зарю» [4, с. 151]. С раннего детства Сергей уже, так сказать, обречен на объемное, панорамное видение мира, кругозор не только горизонтальный, но и вертикальный. Он глядит на озеро «поверху» и видит: «Вода без конца и краю, широко отразилось в ней опрокинутое меркнувшее небо, и не понять в этом пугающем просторе, где кончается озеро и начинается небесная пустота, и уже будто не на воде покачивается наша лодка, а плывет в жутковатом багровом небе, где так легко и прохладно» [4, с. 167]. А вот герой, отдыхая после косьбы, лежит навзничь, глядя на лунное небо, и его «охватывает восторг, смешанный с языческим страхом — перед неизведанной громадностью вселенной». Он думает о соизмеримости человека и космоса («А не есть ли вся наша вселенная — лишь одна-единственная молекула?» «И, может быть, молекулы нашего тела — тоже целые вселенные для каких-то совсем уж непостижимых мелких живых существ?») и приходит к выводу, что «человек — это диво дивное. А жить — это чудо из чудес» [4, с. 323].

Такому «чудесному» человеку доступны все тайны природы, он может все, что может она, они — «единое живое существо». «Я любил и ненавидел то, что любит и ненавидит природа, и не мог себе представить, как можно жить без нее, — ведь это, казалось мне, все равно что рыбу заставить жить без воды,

а птицу без неба» [4, с. 379]. И потому Сергей Прокозов, вопреки невиданным тяготам, выпавшим на его долю, не мог не ощутить на себе крылья, почувствовать себя птицей — небесным, романтическим существом, ведь им он давно уже и был. Это чувство он испытывает особенно остро, когда едет поступать в Томский университет — событие, ставшее для него, юноши из глубинки, главным в жизни. «Я открываю дверь (вагона) на волю и, держась за поручни, повисаю над рябящими внизу шпалами и бешено летящими навстречу придорожными кустами. Ветер дергает, рвет с меня рубаху, она надувается, хлопает за спиной, словно там *выросли крылья и я вот-вот взмою ввысь в стремительном полете.* <...> Это тревожно-радостное ощущение полета вытесняет все мысли и чувства — хочется кричать в ветреную пустоту что-то бессмысленное, дикое» [4, с. 453].

Сочетание сурового реализма и светлой лирики, драмы и романтики, крестьянского труда и птичьего полета, земного и небесного можно увидеть в фигуре лебедя, используемого в качестве образа-символа. По многочисленным сказаниям, преданиям, поверьям, самая романтическая и одновременно трагичная, эта птица чаще других встречается уже в первой книге П. Дедова «К солнцу незакатному». К солнцу, к которому летит стая лебедей. Заглавная новелла книги — сплав зарисовки с природы и притчи — заставляет сравнить птицу с человеком. Говорит о тяжелой, но все-таки счастливой доле того, кому дано, пусть и рискуя жизнью (или «сытый ужин», или «наперсток дробы под крыло»), пусть и преодолевая тысячи километров, видеть незакатное солнце, «суровые земли» своей второй родины. Кто не уподобился тем «непонятым птицам», своим родичам, домашним гусям, «ожиревшим от хозяйского корма», то есть обывателям-мещанам, которые, даже захотев, взлететь уже не смогут.

Похожий сюжет повторяется в рассказе «Лебединый клик», позднее переименованном в «Верность». Но только с участием «жирных гусей» в образе людей — отца и сына, убивших и освежевавших лебедя из пролетавшей стаи. Отец хвалит сына за меткий выстрел, а тот после убийства спокойно читает книгу, лениво замечая, что «подлец» лебедь, друг убитой, «и единого круга не сделал, шуганул прочь». Но сытая мораль обывателя посрамлена: ночью молодого циника будит лебединый крик: «И тут увидел — над плесом, в голубом лунном сиянии металась, кричала большая белая птица» [3, с. 112]. К этим финальным словам рассказа уже ничего не добавишь. Остается только гадать, разбудит этот крик совесть гусечеловеков или нет.

Такой вопрос даже не встает в отношении героя рассказа «Оспан», одинокого чабана, который «шибко привязался» к лебединой паре, поселившейся в камышовых заводях Чулым-реки. В ответ на его душевность и доброту они однажды показали ему свое потомство — двух юных лебедей. Мы видим чабана плачущим, когда семейство, покружившись над ним в знак прощания, улетело. Плачущим и о лебедях, и о себе, своем одиночестве: собственной семьи у него нет и уже не будет.

Лебеди служат не только живыми символами человеческих характеров и судеб, но и ангелами-хранителями и спасителями попавших в беду людей. Именно так можно истолковать благополучный финал одного из самых

известных рассказов П. Дедова — «Апрельский лед», позже — «Лебединый клик». В этом позднем названии как раз и подчеркнута спасительная миссия лебединой стаи, появившейся сразу после раскаяния героя рассказа, директора местного химического завода Анохина. Оказавшись на краю гибели, он прозревает: да это же сама природа мстит ему за причиненный вред и поругание над ней! Ибо тонет он как раз на льду устья «загубленной им (отходами его завода) речки» [3, с. 100—101]. И тут же над рыбаками появляется лебединая стая, вслед за которой их обнаруживает и спасает другая, стальная «птица» — вертолет.

В судьбоносной роли в рассказе «Стезя» выступают уже другие птицы. Сначала пожелавшего охотиться на опасных болотах Васюганья героя словно заманивает в ловушку «окна» — губительной ямы рядом с тропой — «матерый петух»-косач, которого ему очень уж хотелось добыть. А потом, когда его уже почти засосала трясына, наглый ворон, прилетевший в надежде поживиться, побуждает героя к сверхусилию: «Через силу, чудом каким-то... выволок свое тело из вонючей жижи!» [3, с. 211—212]. Не будь этих коварных, но судьбоносных птиц, не найти ему ту старую тропу, стезю, которую много лет назад проложили люди на болоте, ходившие в эти обильные ягодой, грибами и разнообразнейшей дичью места. Но главный итог — герой поверил в Того, кого олицетворяют небесные птицы, — в Бога, «Его праведную силу». И думает он при этом не только о себе, но и о всем русском народе, вечно страдающем от несправедливой власти: «Найдет свою стезю и многострадальный народ мой, ибо вся его многовековая история была мученичеством во имя добра и справедливости, подвижническим поиском своего пути» [3, с. 214].

Несомненно, творчество П. Дедова социально ориентировано и гуманистично, посвящено человеку труда, труда крестьянского, самого нужного и тяжелого. В 90-е и 2000-е годы в его произведениях все явственнее слышится голос публициста, не приемлющего мораль «новых русских». И тем не менее признанный прозаик, автор прославленных «Светозаров», все же остается поэтом. То есть писателем в высшем смысле этого слова, воспаряющим, подобно птице, над прозой благодаря искусству слова. Не зря в поэтическом сборнике 2006 года с таким излюбленным и красноречивым названием «Лебединый клик» П. Дедов, как подлинный степняк, признается: «Думается, трудно прозаику, не пишущему стихи. Поэзия вдохновляет, держит на той высоте, где воздух чист и откуда далеко видно окрест. Она облагораживает чувства, делает кратким и образным язык» [2, с. 5]. Не случайно в первом же стихотворении автор пишет о легендарном Икаре, рванувшем к солнцу, хотя и упавшем на землю, «как птица, стрелянная влет». [2, с. 8].

П. Дедов, уже без колебаний утверждаем мы в завершение нашего очерка, написанного, так сказать, с высоты птичьего полета, был поэтом прежде всего. И в прозе, и в стихах. Икаром, летевшим на крыльях своего слова, стремившимся к яркой образности. Реалистом, но и романтиком, которому нужно было небо, солнце и вся вселенная.

Отмечая дар писателя как поистине поэтический («Весь этот сборник новелл молодого литератора — страстный гимн природе отчего края, ее

неповторимой красоте, слово о ней как о живом чуде»), В. Сапожников, автор предисловия к первой книге П. Дедова (1970 г.), указывает и на недостатки. Причем достаточно резко: «Порой думается, что он намеренно уходит от серьезных социальных проблем, например бытия тружеников села, о которых он с такой любовью пишет». И, по сути, требует от него, опираясь на цитату из Льва Толстого, «ставить перед собой большие задачи» — тогда и появятся «силы решать их» [1, с. 5].

И через два года, думаем мы, П. Дедов такую задачу ставит. Он приступает к большому роману «Светозары» и заканчивает его только через



одиннадцать лет, в 1983 г. Нелегко ему, видно, далась эта задача по созданию эпоса, в какой-то степени вынужденного. Не вышло, к счастью, у него книги-«кирпича» в духе соцреалистических пафосных эпопей. А вышла, по сути, та же книга новелл, на которые весьма четко делится текст «Светозаров».

Да, его восторгал гений Михаила Шолохова. «Мужицкий роман» «Тихий Дон» явно повлиял на его творчество, отзвуки другого шолоховского романа — «Поднятая целина» — весьма заметны в «Светозарах». Но не меньше ценил Пётр Дедов и Юрия Казакова, писателя «даровитого, необыкновенного», который «из самого обыденного факта умел извлекать чистейшую поэзию, как золотодобытчик из серой горной породы добывать благородный металл» [3, с. 235].

Словно отвечая, спустя тридцать пять лет, В. Сапожникову, в очерке «Несбывшаяся мечта (рассказ о любимых писателях)» П. Дедов, объясняя свою любовь к Ю. Казакову, говорит так: «В своих рассказах писатель не ставил и не решал каких-либо жизненных, социальных проблем. А ему это и не надо: мощный поток его прозы настолько жизнеутверждающий, что читатель сам, без лишней подсказки, во всем разберется...» [3, с. 236]. Эти слова можно отнести и к самому Петру Павловичу Дедову, творчество которого и окрыляет, и говорит о самом насущном.

Литература

1. Дедов П. П. К солнцу незакатному. — Новосибирск: Западно-Сибирское книжное издательство, 1970.
2. Дедов П. П. Лебединый клик. — Новосибирск: Сибвузиздат, 2006.
3. Дедов П. П. Русская доля. Сборник рассказов. — Новосибирск: Сибвузиздат, 2007.
4. Дедов П. П. Светозары. Трилогия. — М.: Современник, 1987.

2014



*Первые Дедовские чтения.
Село Новоключи, 2014 г.
Фотография на память на фоне баннера
с изображением Петра Павловича Дедова
и строчками из его стихов:*

*А я все такой же —
не сломленный
Свинцовой житейской прозою.
Люблю этот быт соломенный
И синюю даль с березами...*

2015



*Год 2015-й.
Дедовские чтения.
Новосибирская
областная научная
библиотека (фото
справа сверху);
Дом культуры в
Новоключах (снимок
вверху слева);
на фото справа —
поэтический
марафон на берегу
озера Горькое.*





Ольга Григорьевна Дедова со свежим номером журнала «Сибирские огни»

*Библиотека
им. П. П. Дедова в Новоключах.
Экспозиция, посвященная
знаменитому земляку*

*Эффектное завершение
чтений — «Дедовский костер»
на берегу озера (2015 г.)*



Награды ждут победителей конкурса



ДЕДОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Писатель и после смерти продолжает жить в своих книгах. Петру Павловичу Дедову повезло еще больше: его именем названы ежегодные чтения, проходящие с 2014 года в июле.

Дедовские чтения уже традиционно начинаются в городе Новосибирске и заканчиваются на родине прозаика — в селе Новоключи Купинского района Новосибирской области. Чтения — это целый комплекс мероприятий от научно-практической конференции, посвященной наследию писателя, до творческих мастер-классов и поэтических марафонов; программа их, благодаря стараниям организаторов, неизменно насыщена и оригинальна.

Так, на Вторых Дедовских чтениях (2015 г.) жители Новоключей встретили настоящий культурный праздник. На малой родине Петра Павловича прошла ярмарка художественных промыслов местных мастеров «Кладовая ремесел», акция «Подари книгу», сюда нагрянул «литературный десант» с участием Николая Александрова, Дмитрия Рябова, Кристины Кармалиты, Евгения Мартышева и Игоря Кожухова, состоялась презентация журнала «Сибирские огни» с публикацией «Сполохов» П. П. Дедова. Поэты из Карасука, Здвинска, Бердска и лито «Сибيريا» приехали в Новоключи, чтобы принять участие в поэтическом марафоне.

Заключительным этапом фестиваля стал «Дедовский костер» на берегу озера Горькое. Погода благоволила, и собравшиеся до самой темноты вместе с ансамблем «Меридиан» РДК им. Кирова пели песни, читали стихи, декламировали отрывки из рассказов нашего выдающегося земляка.

Большой популярностью у гостей Дедовских чтений пользовался комплекс информационно-библиотечного

обслуживания (библиомобиль) Новосибирской государственной областной научной библиотеки. Сотрудники библиотеки подготовили книжную выставку, организовали «Летний читальный зал» и даже провели мастер-классы по изготовлению книжных закладок в технике скрапбукинга для всех желающих.

А перед этим в Новосибирске в зале Новосибирской государственной областной научной библиотеки были торжественно подведены итоги областного литературного конкурса имени Петра Павловича Дедова.

В номинации «Малая проза» лауреатом I степени стал Владимир Карасёв (с автобиографической повестью «Испытание жизнью»), II степени — Алексей Макаров (с рассказом «Анисья» и миниатюрой «Космическая сказка»), III степени — Игорь Кожухов (с подборкой рассказов).

В номинации «Поэзия» диплом I степени присужден Виктору Сайдакову, II степени — Евгении Чернышёвой, звания лауреата III степени удостоен Анатолий Побаченко.

Итоги конкурса 2014 года, напомним, были таковы:

— в номинации «Малая проза»: победитель — Игорь Кожухов, II место — представитель города Купина Татьяна Бернякович, III место — Елена Ткач из объединения «Родник» Карасукской ЦРБ;

— в номинации «Поэзия»: I место — Валентина Дёмина из поэтического объединения «Созвездие», Новосибирский район, II место — Елена Зиноватная из литературного объединения «Молодость», г. Новосибирск, III место — еще один член объединения «Созвездие» Николай Пархоменко.

Далее мы предлагаем вниманию читателей некоторые из произведений, отмеченных жюри конкурса.

Татьяна БЕРНЯКОВИЧ

ПАРАБЕЛЛУМ С ВЫСОКОЙ ГРИВЫ

Рассказ

Сашок собирался за речку. Он был еще мал, но окрестные луговины и колки обшастал вдоль и поперек, и дома за него не беспокоились: такой не затеряется. Мальчишка любил первым находить еще никем не тронутые ягодники и не спеша обирать их: одну в рот — одну в пучок, одну в рот... Наевшись до отвала и собрав «букет», едва вмещающийся в руке, торопился домой.

А еще любил Сашок смотреть, как, по-девчоночьи всплескивая руками, удивляется мать чистой, крупной, празднично-нарядной и страсть какой пахучей ягоде. Она бережно отрывает две-три ягодки, отправляет их в рот, прикрыв глаза пушистыми выгоревшими ресницами, качает головой от восторга, целует Сашку в макушку и подвешивает пучок к шестку, чтобы подольше ягодный дух сохранялся в хате. Затем высохшие и ставшие уже некрасивыми бурыми шариками ягодки вместе со стебельками отправлялись в самовар, отчего снова, в последний раз, просыпался дух леса, плыл по дому, щекотал ноздри, навевал картинки красных и горячих от ягод полей, а чай был густой, терпкий и легкий.

Тут вдруг ниоткуда напозла туча, захмарило, стал накрапывать мелкий, не обещающий скорого солнца дождик. Сашок был не из таковских и не собирался отменять свой поход. Но, опасаясь опять застудить ухо (в которое

уже раза три набирал воды, бултыхаясь днями в озере), заискал глазами по хате. Ага, вот что ему надо! Он привстал на цыпочки и потянулся за старым батиным картузом, что давно без нужды висел под притолокой, у печки. Чапельником поддел твердый козырек, и картуз с глухим стуком кувыркнулся на пол.

— Ты гля-а-ань!.. — на вдохе прошептал Сашок.

Петька оставил книжку, от которой не мог оторваться с утра, подошел и тоже уставился на находку. На том же рыжем от старости гвозде, где висел картуз, хищно выгнув тело, тускло и загадочно поблескивал пистолет. Петька схватился за ствол, потянул его с гвоздя, ощутив в руках холодную, неживую тяжесть. Сашок во все глаза смотрел то на пистолет, то на брата. «Па-ра-бел-лум», — по слогам с трудом прочитал Петька насечку из латинских букв. Он уже перешел в 7-й класс и страшно гордился тем, что может читать на ненавистном, но все же иностранном — немецком языке. Осторожно вынул обойму и обнаружив в ней аж пять патронов, Петька метнулся к этажерке, порылся, схватил какую-то книжку, скомандовал:

— Айда в колок!

Пока шагали узкой, заросшей густой муравой, не часто езженной дорожкой мимо бесконечного пшеничного поля, накрапывать перестало — тучка обманула: молча сместилась к

Горькому озеру, повернула к Лягушам, поползла к Горноталихе... Стало душно. Петька обливался потом в стареньком, еще довоенном отцовском пиджаке, одетом в целях конспирации. Пистолет, сунутый за пояс штанов, жутковато холодил голый живот... Но колок — вот он уже.

Забравшись в его влажно-парное нутро и пристроив на оцетинившийся трутовиками пенёк книжку, ребята осмотрелись. Не обнаружив никого, чуток успокоились.

— Я первый, — заторопился старший.

Осторожно отлепив от живота, вытянул пистолет, стал целиться. От выстрела, который грянул, как показалось, оглушительно, ребята невольно вздрогнули и замерли, прислушиваясь к знойной тишине леса. Ни пичужки, ни кузнечика какого — как будто этот выстрел убил все враз... Кинулись к пню. Толстенная книжка — насквозь!

Сашок не мог и слова проговорить, так был напуган и подавлен смертью, живущей в этом небольшом и мертвом на вид куске железа. «А ведь на войне и папку могли убить из такого же...» — трепыхнулась первая мысль в его оглушенном мозгу. «И когда же он его вот так просто спрятал?.. И как же мы с Петькой за целый год на него не наткнулись?.. А мамка?!» Мысли испуганно металась в Сашкиной разом вдруг заломившей, загудевшей голове, обрываясь и ни во что путное не связываясь.

— А теперь ты! — прервал Петька суматоху внутри младшего и стал пристраивать оружие в маленьких непослушных, вмиг вспотевших ладошках Сашки.

Он встал за его спиной и поддерживал тонкие, вздрагивающие руки брата, а они все норовили опуститься под тяжестью пистолета. Зажмурив глаза, мальчишка с трудом придавил тугой спуск.

И этот выстрел стараниями Петьки угодил в цель. Еще раз подивившись

ужасающей силе оружия, зашвырнули книжку подальше в кусты ракиты и, снова запихнув парабеллум под «конспиративный» пиджак, направились в село.

Петьке идти было неудобно, но иначе пистолет было не донести... Так и топали: по жаре, босиком, но один при картузе, а другой при пиджаке.

Хотелось пить, хотелось есть, донимали паузы. Обреченно и вяло шлепая себя почем зря, братья, каждый по-своему, думали об одном и том же. Уж второй год пошел со дня Победы, уже все выжившие в войне мужики вернулись в Новоключи и даже самые тяжелые инвалиды возвратились из госпиталей. Но ни разу не слышали ребята, чтобы кто-то принес с собой такой трофей. Ну, кортик видели, зажигалки, портсигары да фонарики там всякие... Слышали, что в Копкуль принес какой-то Воеводин немецкую гармошку — аккордеон называется... Но чтобы пистолет!.. Ай да папка!

Поднимаясь на крылечко, Петька зашептал горячей скороговоркой:

— Заходим, все на место и никому ни слова!

Чего шептать, и так ясно. Сашок хоть и маленький, но понимает...

Заскочив в дом, ребята как на стенку наткнулись — прямо окаменели у порога. Посреди хаты стоял отец. Он вернулся с войны с одной рукой и по неспособности его теперь к ручной работе бригадирствовал. Заезжал батя на обед когда получится и если получится. А тут вдруг пешком и с обедом-то уже управился. Привычно заправляя свободный рукав за ремень добела линиялой гимнастерки, он что-то говорил матери. «Эх, — мелькнула у Петьки запоздалая мысль, — не додумал, под обед подгадали... Стояла бы батина бричка во дворе — сиганули бы в сарай, а он тут пехом...»

Повернувшись к сыновьям и окинув их внимательным, незнакомым взглядом, отец тихо, чтобы не услышала

мать, колготившаяся у стола, scomандовал:

— Сидеть дома, пока не ворочусь. — И вышел за порог.

— Что это вы вырядились в такую-то жару? — удивленно глянула мать на ребят, направляясь с посудой в кухню.

Петька махом, больно чиркнув по животу мушкой, выдернул пистолет, водрузил на гвоздь, рванул картуз с головы все еще столбом стоявшего Сашка и прикрыл оружие. Ткнул младшего в бок, одновременно оба шлепнулись на лавку, за стол, одновременно выдохнули с облегчением. Есть расхотелось. Хотелось спать и чтобы быстрее настал и прошел вечер.

* * *

Но день тянулся долго. Братья то сидели притихшие, бесцельно глядя в окно, то слонялись из угла в угол, не находя дела ни рукам, ни голове.

— Да что это с вами нынче? — удивилась мать. — Заболели, что ли? — На бегу приложила ладонь к Сашкиному лбу. — Да нет, вроде не горячий...

Чтобы не пугать ее, сели за книжки, хотя какое там теперь чтение?.. Перешептывались, гадали, что теперь будет, что будет? Больше переживал Петька: он старший — с него и спрос. Отец у ребят был строг, но всегда справедлив, не было того, чтобы поднимал на них руку — хватало слова, иногда и одного взгляда. Однако за такое дело мог и накидать...

Придя с работы, отец тут же отправил сыновей во двор, велел сложить привезенные березовые кругляши. Кругляши складывали долго: не спеша, старательно, один к одному, но они все же кончились. Пришлось тащиться в хату. Отец ушел уже в баню. Ребята как на иголках сидели, ждали. Вернувшись, тот вдруг отправил их мыться. А когда, просидев в бане чуть не час, запарившись до головокружения и выключив всю воду подчистую, приплелись

они, — батя уже спал, вставать ему было в пять.

Больше ничего не произошло. Ни утром, ни через день, ни через три — батя ничего не говорил. Сашок вообще забыл об этом происшествии — забегал, заиграл его с такими же мальками, целыми днями пропадая на лугу в поисках ягод, щавеля да всего, чем можно набить живот. А Петька все не мог успокоиться. Все ждал чего-то. Подгадав, когда в хате не будет никого, он крадучись подошел к печи, осторожно приподнял картуз... Пусто! Парабеллум исчез. И Петька успокоился. Озеро, лес, рыбалка — столько дел! Одно слово — лето...

* * *

За Горьким начинали покос, и отец взял в свою бричку-двухколеску Сашка, напросившегося выбирать уже сомлевшую от спелости ягоду из богатых запашистых валков. За бричкой бригадира, шепча колесами, тянулись по разбитой, застланной пока еще дремлющей, тяжелой утренней пылью дороге несколько подвод с косарями. Поднявшись на косогор, отец чуть натянул вожжи и, указывая вперед, на ракитник, повернулся к сыну:

— Гляди, Саш, лиса. Во-он, видишь, — столбиком стоит, видно, перепелок учуяла. Гляди-гляди...

Пока мальчик во все глаза, приоткрыв от напряженного внимания рот, наблюдал за лисицей, то замирающей, то мелькающей рыжим огнем среди кипящей сочно-зеленой травы, подтянулись и остальные подводы. Остановились.

— Вишь, что вытворяет! Ты глянь, глянь, и нас не боится! — добродушно запереговаривались мужики.

Но тут, прерывая возгласы, бригадир, указывая кнутовищем на обочину перед своей бричкой, обернулся к молодому парню на первой телеге:

— Ну-ка, Федьк, соскочи, что-то там вроде лежит!

Федьке повторять не надо было. В два скака подлетел тот к находке, замачал его над головой.

— Пистолет! Пистолет! — не своим голосом заорал он, подбегая к уже спешившимся мужикам.

— Сюда подай! — скомандовал бригадир.

Стряхнув пыль с оружия, проверил обойму — патронов не было.

— Эх, жалко... — протянул Федька, — щас постреляли бы! А давайте его сховаем и никому, а? — повел он по мужикам неуверенно-просительным взглядом, понимая, что свидетелей многовато.

— Пустой разговор. Это дело подсудное, — строго оборвал бригадир. — Завтра увезу прокурору в Купино: по закону положено так. — И сунул пистолет куда-то в передок брички, в сено.

Обоз тронулся, а мальчик, неловко вытягивая шею, все оглядывался, все любовался разыгравшейся лисой, так и не удостоившей косарей вниманием.

* * *

Вечером, за ужином, запивая холодным молоком глудку толченки, взахлеб рассказывал Сашок Петьке с матерью про лису, а заодно вспомнил, как нашли они на Высокой гриве пистолет.

— Пап, покажи! — вертанулся он к отцу.

Тот нехотя полез в брезентовый подсумок, лежавший на лавке около, и осторожно, без стука, положил на стол пистолет. Мать всплеснула руками, ахнула и почему-то, поднеся фартук к глазам, ушла в сени...

— Ну на, поддержи. — Подал находку старшему.

Петька вдруг весь взмок, и даже нос у него осыпало, как конопушками, мелкими капельками. Молча вынув из рук мальчика оружие, отец снова убрал его в подсумок и вынес куда-то...

А Сашок, уже засыпая, погружаясь, как в теплую воду, в вязкий сладкий сон, все думал: «Вот ведь не только папка принес с собой пистолет, а и еще кто-то... и точно такой же... да еще и потерял... раззява».

Пётр ДЕДОВ

Из записных книжек

Простор для души важнее просторного жилья.

* * *

Писатель всю жизнь должен бороться в себе именно с «писателем» — литературщицей, иначе она затянет в такое болото, где и не пахнет реальной жизнью. И будешь выпекать поделки, подобно многим сегодняшним молодым: и слово чувствует, и слог есть, а главного — души — нету. Пустозвонство...

* * *

Человеческое нутро — за семью замками. Увидеть саму суть, обшелушить все наносное, чужое... Это тебе не зерно грецкого ореха добыть.

* * *

Да, юность чувствует, а зрелость мыслит. У настоящего поэта — счастливое сочетание того и другого.

* * *

Талант доброты и человечности — самый высокий талант.



АНИСЬЯ

Рассказ*

Анисья подняла голову от домашнего ткацкого станка и поняла, что больше работать не может: толкнула челнок, а другой рукой и не поймала, заснула на миг. Перед тем как лечь спать, она вышла из избы по малой нужде да услышала, что овцы колготятся в пригоне и мычит корова, и отправилась проверить.

Война закончилась три года назад, а волков в урмане меньше не стало. Ночью редко какую неделю не залезут в пригон к какой-нибудь бабе, загородка-то вдовья: толкни — и развалится.

Свет из дыры кровли, незнамо как появившейся, слабо освещал пригон. На подстилке из объедков сена лежала ее овца, самая плодовитая из трех, а матерый волк смотрел на хозяйку, и его глаза сверкали фосфорическим блеском. Он молча оскалил зубы, и в сумраке они выделялись белью, только губы в крови. Анисья непроизвольно протянула руку, и ей под ладонь попался черешок вила. Она направила на волка рожки, тот прыгнул на нее...

Хотя она многое повидала на веку, здесь испугалась нешуточно, в мыслях пролетела вся ее нелегкая жизнь...

Замуж Анисью отдали за первого парня в деревне — красавца из богатой семьи. А через год родила она дочку и жила в мужниной семье в труде, но обеспеченная. У Саниковых работали все,

даже дети. Да и как не трудиться — без труда не вынешь и рыбку из пруда. Это только голь перекатная вечно празднует.

Наступила пора коллективизации, но семья Саниковых уперлась и не захотела вступать в колхоз. Пятерых братьев с домочадцами арестовали и повезли в ссылку, а куда — и неведомо. Дорогой дочка, которой и было-то три годика, часто плакала:

— Тятя, когда мы приедем домой? Я устала, мне хочется к деду с баушкой.

— Сина, потерпи маленько, привезут нас на место, там и будет наш дом.

Полгода их возили по разным местам Западно-Сибирского края и наконец осенью выбросили в лесу у болота близ деревни Львовки, а местным жителям запретили пускать их на постой. Братья взялись копать землянки, чтобы пережить холодную зиму.

Здоровые и работающие, они через четыре года поставили добротные дома, завели лошадей и другую скотину. Анисья любила своего мужа и здесь родила ему еще одну дочку. Конечно, Митя хотел сына, все говорил: «Ничаво, Анисьюшка, будет и в нашем доме праздник, родишь ты мне сына, чтобы продолжил он наш род хлеборобов».

Да вот пришла беда. Арестовали Митю с братом и вскоре расстреляли незнамо где. Остальные братья сбежали, Анисья больше о них и не слышала. Лошадей и коров отобрали, в колхоз ее не приняли — член семьи врага народа. И чем теперь кормиться

* Печатается в сокращении.

с малыми детьми? Жила с дочками только огородом, который вскапывала лопатой. А тут новая беда — война. Подработать даже полпуда муки не у кого: все жили бедно.

Вот и решила Анисья бежать через болото к родителям.

Продуктов дома нет, она с большим трудом сберегла десяток сухарей да столько же испеченных в мундире картофеля. Через Васюганское болото до деревни Украинки немного меньше ста верст, а там до тяти еще тридцать пять. Пока морозами не скует трясины так, чтобы выдержала лошадь, Васюгань непроходима. Но зимой энкавэдэшники ставили сторожевые посты, чтобы не сбежали ссыльные. Младшей дочке шел всего-то второй годик, а старшей, Сине, двенадцать; Анисье с двумя детьми пешком зимой да в падеру не пройти в обход постов — замерзнут. Потому решила бежать она летом через топи. Рассчитывала Анисья пройти путь до Украинки за пять-шесть дней, да человек располагает, а бес решает...

Дождалась проверки уполномоченным инспектором и на следующее утро ушла.

Дорогой мать несла Раечку на руках, старшая шла сама. Уже на второй день пути Сина стала хныкать: «Мам, мне больно ножки, я устала». Посмотрела мать на ноги дочери, а они стертые до крови. Анисья изорвала свой платок да обвязала ноги, добавила сырого мха: его сок заживляет раны.

В день тратили два сухаря да картофеля. С собой у них были серянки, котелок — кипятили чай из трав. Только съедобных их на болоте мало, все больше ядовитые или горькие. Чаще всего ели корни осоки и рогоза, но последний попадался только в озерах, а они встречались редко. Белая мучнистая внутренность корней рогоза немного снимала голодные спазмы желудка. Пить приходилось болотную воду. Анисья разгребет мох и зачерпнет коричневую жижу — вода, настоящая на мху, не опасна, в ней нет бактерий.

На третий день случилась непогода, солнца не стало. Теперь трудно выбрать направление: Анисья же не охотник, не знает примет сторон света. А здесь еще Сина постоянно хнычет, что устала и идти не может: «Мам, когда дойдем до баушки Макарихи? Она такие вкусные блины печет!..»

На четвертый день произошла беда: Анисья провалилась в болото. Обманули яркие цветы, растущие на поляне, на деле там оказалась топь. Обычно выручала палка, которой тыкала впереди себя, проверяя дорогу, а здесь вот понадеялась на цветы. Пока не утонула совсем, она положила Раю на ближайшую кочку и сказала старшей:

— Сина, придется тебе идти самой. Бери Раю и возвращайся к людям, можа, кто и поможет, а меня вытащить, боюсь, у тебя не хватит сил.

— Мамочка, как же я пойду к людям, куда идти? Давай я попробую тебя вытащить.

Сина начала тащить мать, но силенок не хватало. Тогда она пошла к маленькому леску в трех сотнях шагов и стала носить палки и ветки да подкладывать матери. У рук Анисьи появился упор, и ей удалось вылезти из трясины. Заплакали мать и дочка, снова появилась у них надежда не погибнуть в проклятом болоте.

Постепенно успокоились и пошли опять на полуденное солнце, благо разъяснилось. Ночевали на островах сухой земли среди бескрайних марей. Продукты закончились, стали питаться одними ягодами: голубикой, клюквой да морошкой, только попадалась спелой одна голубика, а от зеленоватой клюквы и морошки начиналась изжога. Но изжога не одна напасть — от плохого питания молоко в грудях исчезло, и младшенькой дочке тоже стало голодно, она стала плакать. На пути много раз попадались волки, но они их не трогали — видимо, летом корма им хватало.

Последний сухарь Анисья приберегла для Раечки. Отломила кусочек, разжевала, положила в тряпочку да

дала ей в ротик. Та зачмокала, замолчала, высасывая разжеванный хлеб.

— Мам, я тоже исть хочу.

— Доченька, потерпи маленько. Если съедем последний кусочек, то Рая умрет от голода.

Незнамо как, но на одиннадцатый день обессиленные странники вышли на моховое болото, поросшее чахлым сосняком, вдали виднелись большие деревья. В очертаниях кромки леса что-то знакомое показалось Анисье. «Ужели это ичинский рям?» — подумала она. В этот рям деревенские женщины ходили за голубикой, брусникой и клюквой.

Если идти теперь по границе леса направо, то выйдешь на покосы деревни Остяцк у речки Вторая Барсучка, а Первая Барсучка течет уже у самой деревни. Вскоре Анисья с дочками вышли на твердую землю и у первой же копны сена упали, чтобы отдохнуть немного и прийти в себя — трудный путь заканчивался, до родительского дома оставалось не больше пяти верст. Анисья даже притопнула по земле, как бы проверяя ее твердость.

Через пару часов они тихо шли по Остяцку, а дети и старики смотрели на них — кто с испугом, а кто и с жалостью. Анисья видела лицо Сины. И у нее оно не лучше, опухшее от укусов гнуса.

На берегу таежной речки Тары стоит деревня Ургуль, каких тысячи по сибирским просторам. Но для Анисьи она единственная, родная.

Перешли они речку и у дома Ивана Лаврова задержались. Здесь стояла лиственница в два обхвата, а теперь только пень. «Дерево-то кому помешало? Это же лицо деревни, с ним и Ургуль казался милее других деревень», — с горечью подумала Анисья. Напротив дома Лаврова, стоящего на самом яру, избушка Калинкиных, дальше за ней видна кузня, за кузней — конюшня и ферма. Это дом Кокориных, а дальше — Наумовых и Сидоровых. Дома Лаврова и Кокориных сдвинуты из ряда улицы вглубь, тем

самым образована своего рода площадь для всяких мероприятий. Здесь водили хороводы, здесь они гуляли с Митей до зари. На сон оставалось совсем мало времени, только прикорнешь, а уже матушка будит:

— Анисья, вставай, пора коров доить, а то пастух прошел уже на край деревни. Не то опять прогуляла всю ночь?

Каждое утро обещаешь, что сегодня уж обязательно уйдешь с вечерки раньше, но стоит Мите обнять ее — и затрепещет сердце, как птичка в клетке. Ну где здесь помнить о данном слове?

Далее — дом Станислава Феклистова, потомка поляка, сосланного в Сибирь после восстания Костюшко. А вот и сам Станислав сидит на лавочке у забора, седой как лунь:

— Пойдите, странники, я вынесу вам кусочек хлеба и еще что-нибудь, что найду.

— Дедушка, не надо выносить хлеб: мы уже пришли домой.

— И кто же вы будете?

— Анисья Саникова, идем мы к маменьке с тятенькой из-за болота.

— Ох, да что же вам пришлось вынести, болезные!

А это уже изба сестры Авдотьи — жены Александра Крюшкина. На улице нет взрослых людей (все на покосе), только малые дети, которые удивленно и с жалостью смотрят на уставших, в рваной одежке, путников.

Следом изба Чикмарёва. Это он, Фёдор Чикмарёв, раскулачивал ее с мужем да и всех братьев Саниковых. Двор у него остался таким же пустырем, как и был, — ни построек, ни скотины, даже сеней нет. Вход в избу — по небрежно брошенным на чурки доскам. Всю жизнь любил Фёдор широко гулять да играть в карты, таких же непутевых и собирал около себя, голь перекадную. «Видать, достатка не прибавилось и с новой властью», — непроизвольно подумала Анисья.

А вот и сам «черт с табакеркой» идет навстречу, Фёдор Чикмарёв,

ростом «полтора метра с шапкой», с поросячьими глазами.

— Вы кто такие и чего нищенствуете?

— Анисья я Саникова, с дочками, иду к тятеньке с маменькой.

— А где твой мужик и его братья?

— Расстреляли их.

— Туда им и дорога, все норовили больше захватить, дупердые какие-то, все нарабататься не могли.

Избушка тятеньки с маменькой ничем не отличалась от других домов: такая же двускатная земляная крыша, как говорили, «в земляной шапке да берестяной подкладке». Дело в том, что береста спасала от дождя, а дерновая земля нужна, чтобы не сдуло ее ветром. Вдоль стен завалинка, чтобы не промерзали овощи в подполье. Изба срублена из вековых сосен, а нижние венцы — из лиственницы. В одной комнате умещались и кухня с русской печкой в четверть комнаты, и спальня с деревянной самодельной кроватью, и столовая со столом, сделанным еще дедом Алексеем.

Анисья увидела у прясла тятиного двора старушку и подумала: «Кто там стоит у ворот и смотрит, неужто маменька?» Обнялись они, потом, еле переставляя ноги, зашли в избу, а там — тятенька. Дратвой чирки подшивает...

Недолго длилась их радость. Пришла зима, установился зимник через болото. Приехали энкавэдэшники и арестовали Анисью. Скорый суд, и под конвоем выпала ей дальняя дорога на север, в Норильск. Одно хорошо — оставила она дочек на маменьку с тятенькой.

В рудниках Заполярья работала Анисья на погрузке да откатке руды и дошла до точки, когда жизнь становится в тягость. Охранники били их без всякой меры, чтобы, не дай бог, не присели враги охолонуться, а кормили как свиней. Один начальник над охранниками зверел, если кто из его подчиненных мало бил вражин державы, и сам вечно

держал в руках нагайку с вплетенной на конце пулей. Бил и мужиков, и баб, да старался попасть по лицу. Одному мужику, бывшему летчику и участнику войны, выбил глаз. Не выдержал летчик издевательств и, крикнув «и-эх!», хватил начальника киркой. Тот рухнул, кирка осталась торчать в голове. Долго били потом бедолагу, а через сутки расстреляли перед строем эков — другим в назидание.

Ох как же намерзлась Анисья в заполярных рудниках! Наверху морозы за пятьдесят градусов, а то хиус задует так, что с ног сбивает. Так и пропала бы баба, как и многие другие, слегка присыпанные стылой землей (кто ж будет долбить вечную мерзлоту ради эка?), да пожалел ее один охранник и как-то добился перевода ее в рыбный цех, благо место освободилось. А может, разглядел в ней былую красоту. Работая на засолке рыбы, Анисья постепенно оправилась, появился блеск в глазах, округлилась фигура. Все-таки они в цеху питались лучше других.

Внимание и забота Владимира (так звали охранника) растопили замерзшую душу Анисьи, и стали они жить как муж и жена. Ей же всего тридцать лет с небольшим было. К этому времени срок заключения закончился, но ее только из-под стражи выпустили, а домой не отпускали. У нее родилась дочка Нина, и, когда той исполнилось два года, Анисье наконец дали свободу. А свободной можно официально выходить замуж, что и предложил ей Владимир, чтобы дочка обрела законного отца.

Анисье очень хотелось повидать тятю с мамой, ведь даже писем ей не давали писать. А уж как она соскучилась по дочкам — и сказать трудно! Ночами она часто видела их во сне и разговаривала с ними. Владимир просил забрать Сину с Раей и вернуться к нему, что она и обещала сделать.

...Как же долго ждала Анисья той минуты, когда, не прячась от людей, придет домой да обнимет родных дочек и маменьку с тятенькой! И вот

она в родной деревне и готова птицей лететь, но в руках дочурка, а за плечами котомка с хитрым скарбом. Вот двор с покосившимися воротами, а там Сина кормит поросенка, а Рая играет с куклой, сделанной из тряпья.

— Доченьки! — с выдохом произнесла мать.

Сина подняла голову и спокойно подошла, чтобы обнять мать. Рая же посмотрела на мать исподлобья, не узнавая родительницу. Да и где её помнить её?

— Сина, а где тятенька с маменькой?

— Мама, тятенька давно умер, а баушка вон окучивает картошку.

По огороду как могла скоро шла старая совсем уже мать. Обнялись они и, плача, долго стояли, привыкая к тому, что они вместе.

— Мама, а тятя когда умер?

— А как тебя чекисты забрали, так и он еле полгода протянул, все хотел тебя увидеть перед смертью. Ну, пойдем в избу, поди, есть хочешь? Кто у тебя на руках — сын или дочь?

— Дочка Нина. Муж ждет, что заберу детей и приеду к нему на Север. Теперь и не знаю, ехать ли. Да и намерзлась я там.

...Тяжелое тело волка напоролось на острые вилы с такой силой, что черешок стукнулся о стену. Только теперь Анисья окончательно поняла угрожающую ей опасность. У нее затряслись руки, ноги отказались держать, она села на стылую землю.

На другой день следы волка показали, что он шел нетвердым шагом, теряя кровь. Овцу ободрали, мясо съели, да только лишились приплода. Она из года в год приносила по два ягненочка, а они так нужны, чтобы настричь шерсти или выделывать шкуру на шубу. Когда еще ярка вырастет да и будет ли давать такой приплод?..

Теперь жила Анисья с матерью и тремя дочками. Зимой мать всегда

лежала на печке, дочки летом спали на полу, а в зимнюю пору на полатах, так как от дверей дуло холодом. Ее мать в деревне звали бабушкой Макарихой и любили за незлобивый характер. За свою жизнь мать родила девятнадцать детей, но выросли только девять, да и то из мужиков вернулись с войны двое, а остальные навечно остались в чужой земле.

Нужда сопровождала их семью, как и всех в послевоенной деревне. Постелью им служили шабуры или шубы, которые шились тоже дома и на руках. Обувка самодельная: летом носили чирки из дубленой кожи, которую выделывали сами, а зимой — старые, много раз подшитые пимы. Почти каждый год в деревню приезжал пимокат и у кого-нибудь в бане катал валенки. Да вот где взять шерсть и плату за работу заезжему мастеру?

С самого возвращения Анисья работала на ферме пояркой и рано утром, затемно, уходила из дома, чтобы напоить телят, убрать навоз, подстелить свежей соломы — мало ли работы по уходу за скотиной. Сильно боялась падежа телят: припишут вредительство — и опять лагерь. Холодной водой поить нельзя — заболеют, и приходилось топить печь да греть воду в огромном котле. Недаром весной заставляли пилить дрова. Совсем уж маленьких телушек поила обратом, привезенным из молоканки и тоже подогретым. Потом приходили доярки, и в комнате с котлом становилось шумно и тесно — все сновали туда-сюда. Домой забегала уже уставшая, вся в навозе. Переодевалась хоть и в златанную одежду, но чистую. Растапливала русскую печь и готовила еду для матери и дочек. И опять на ферму. Надо собирать навоз в стайках и грузить на сани. Вывозится, бедолага, вся да так устанет, что к вечеру руки с вилами поднять не может, а куда денешься?

Летом сдавала подросших телят под надзор пастуху, а сама шла работать с другими бабами на сенокос. С восходом

солнца едут они по проселочной дороге, а тело еще не отошло ото сна и болит от вчерашней работы — ведь без продыху махали литовками. Рабочий день длится двенадцать часов, не меньше, да без выходных. Возницями сидят подростки десяти—двенадцати лет. В четырнадцать лет подросток считался уже мужчиной и ставился метчиком сена или на конную сенокосилку.

Первой на прокос становилась Медвежиха, как наиболее сильная баба, а остальные выстраивались уступом и шли, срезая траву в валки. С ранья махали литовками и отдыхали только во время правки их оселком. Иногда подходили к лагушку и, зачерпнув кружкой, пили воду, которая быстро выходила потом. Утром, пока роса не высохла, трава срезалась легче, а потом она становилась жестче. Затупившуюся косу один раз в день отбивали. Мужик клал косу на бабку и, поплевав на обушок молотка, быстрыми ударами оттягивал лезвие. Иногда Анисью ставили вершить стога. Она должна была принимать навильники сена и аккуратно укладывать рядами, чтобы не образовывались «карманы», так как в них может натечь дождевая вода и сено сопреет. Еще вершильщик обязан ходить по стогу и топтать сухую траву, уплотняя ее.

В обед садились в тени березы и доставали нехитрые припасы: краюшку хлеба, вареную картошку в мундире, огурец с парниковой грядки да вареное вкрутую куриное яйцо. Запивали все это молоком из бутылки или квасом. У большинства ничего иного и не было: сало давно съели, а мясо и зимой-то редкость.

А вечером — домашняя работа. Надо окучивать картошку, доить корову да кормить поросенка. Как ни устанут на покосе, но дорогой запоют бабы песню, чаще всего:

*По муромской дорожке
Стояли три сосны.
Прощался со мной милый
До будущей весны...*

Или:

*Потеряла я колечко,
потеряла я любовь, я любовь.
Эх, потеряла я любовь.
А по этому колечку буду плакать
день и ночь, день и ночь.
Эх, буду плакать день и ночь...*

Вот только Анисья не пела: больше не было желания.

По бабьим меркам Анисья еще молодая, но нелегкая жизнь преждевременно состарила ее. В народе есть поговорка: «В сорок пять баба ягодка опять», чего не скажешь о ней. Красивую и статную в молодости певунью и заводилу время согнуло и измяло так, что теперь и не знала она, как запеть песню. В шестом часу встать, весь день колготиться на ферме и дома да лечь отдохнуть поздно ночью — часов-то нет. Никто в деревне не видел ее с чужим мужиком, а ей и не надо их было. По своей доброте Анисья не думала копить обиду на кого-либо, как будто знала, что обида и мысли о мести разъедают душу. Она работала в колхозе не из-за страха перед властью, просто где-то трудиться надо было, а другой работы в деревне нет. При этом по своему характеру небрежно относиться к труду не умела.

Анисья приходилась мне теткой: она родная сестра моего отца. И эту историю рассказала мне ее дочь Аксинья. Живет же Аксинья с двумя детьми еще в первом доме деда, а муж ее давно умер. Все родственники продолжают ласково называть ее Сина. Несмотря на преклонный возраст (ей восемьдесят семь лет), она еще занимается домашним хозяйством и выращивает овощи в огороде. Рая с мужем и детьми живет в Алтайском крае. Анисья же до последнего жила с младшей дочкой и умерла в девяносто четыре года. Похоронив мать на родине, Нина с мужем уехала жить в Челябинск. Так разбросала судьба участников трагедии коллективизации и борьбы с врагами народа.

Игорь КОЖУХОВ

МАМКА

Рассказ

Сына она родила в 45 лет, в далеком 80-м олимпийском году, в маленьком деревенском ФАПе. Родила специально для себя, от деревенского молодого и игривого пастуха, соблазнив того сладкой брагой и ненавязчивой простотой отношений. По редкому еще телевизору видела другую жизнь, танцующих лебедей или уже большую Москву, но смелости не хватило вырваться из надоевшей, но привычной деревни. И она решила родить ребенка и научить его жить так, как сама не смогла.

Красотой Бог ее не сильно обделил, поэтому особых проблем в осуществлении ее «плана» не возникло. Почувствовав, что все получилось, бросила пастуха. Но тот пришел под вечер и, стоя под окном, пьяно требовал еще любви. Перетерпев ночь, на следующую она огрела любовника приготовленной загодя крепкой тяжелой палкой, на его счастье — по спине, а не по голове. Посещения резко кончились.

Через девять месяцев, в солнечном апреле, прибежав, босоногая, по ледяным еще лужам и испугав молодую фельдшерицу, на облезлой кушетке сама родила горластого большоголового пацана. А пока фельдшерица его обтирала и пеленала, быстро помылась и отбрав ребенка, ушла домой. Через два дня по ее просьбе в райцентре старый участковый Скобарь выписал свидетельство о рождении Жигуна Михаила Петровича.

Мишку мать любила жертвенно и самозабвенно. Три-четыре раза за день

прибегала в детский сад проведывать, узнавать у нянечек, все ли в порядке. Радость материнства омолодила женщину, и в свои 50 она выглядела от силы на 30. Многие мужики хотели бы связать с ней жизнь, но она всем отказывала, любя и боготворя только его, долгожданного сына Мишу.

* * *

В кабинет начальника военкомата полковника Воронина вошла молодая, но явно пожилая женщина, быстро, но внятно заговорила:

— Сыну у меня время в армию. Я не хочу, чтобы он ушел. Он у меня один, я без него не смогу. Так что пускай живет со мной. А я за это вам денег дам или картошки да овощей в вашу армию.

Полковник улыбнулся и как можно спокойнее начал объяснять:

— Понимаете, это долг — отправлять детей наших в армию. Ведь кому-то же надо учиться защищать, а потом и защищать родину. Вы же видите, что творится в стране, и если еще сейчас в армию перестанут ходить, вообще начнется не пойми что...

Женщина сверкнула глазами и громко отрезала:

— Если это ваш долг — своих и отправляйте! Моего не троньте! Пришлете повестку — ноги ему переломаю. На руках буду носить, но в армию вашу не пущу! — Она потрясла сжатым добела кулаком у лица полковника и, крикнув: «Понял?!» — вышла.

Его правда не взяли в армию. Виноват, скорее всего, царивший хаос. Мать убедила Мишку, что так и надо, что он рожден для другого. Для чего — скоро узнает.

В деревне становилось все труднее. Мать уволили, фермы закрыли. Совхозные огороды опустели, словно людям враз расхотелось работать. Но Мишка не знал никаких забот, молодой и красивый, он пользовался спросом у девочек.

Однажды он сказал матери, что влюбился и хочет жениться. Мать выронила из рук тарелку, в которую наливала суп:

— Да ты что, сдурел? Зачем тебе жена сейчас, когда все только начинается у тебя? А не дай бог, пойдут дети, сопли, ползунки? И что от нее ждать? Еще, поди, будет бегать по вечеринкам, а ты мучиться будешь?

Она крепко обняла его за голову и, глядя, уговаривала не торопиться и не обижать ее. Обещала, что скоро все начнется. Что начнется, Мишка понять не мог.

Мать была везде. Он шел на вечеринку — она за ним. На глаза не лезла, но находилась всегда где-то рядом, контролируя сына. Над ним стали надсмехаться. Мишка мучился. Он любил мать. Она решала все его проблемы, она кормила и поила его.

Постепенно он запил. Пьяный становился добрым и плаксивым, мать успокаивала его, глядя, как в детстве, по голове.

* * *

По деревенской дороге идет, пьяно покачиваясь, мужик. Лицо его побито, одежда затаскана и давно не стирана. Сзади, опираясь на крепкую палку, — хромая бабка в темном платке и черном сарафане. Это баба Тася и ее сын Мишенька.

За десять лет он спился совсем. Сначала она не запрещала, а потом вдруг стало поздно. Не пить он уже не мог. Его одногодки, отслужив, уехали в город, женились. Проспавшись, Мишка иногда

начинал обвинять мать в своих бедах, в неустроенной своей жизни, и она, не зная оправдания, сама поила его.

Осенью она сильно заболела, не могла подняться с кровати, и по дому делал все Мишка. Для него все было в диковинку, даже подтопить печь было серьезной проблемой, не говоря уже о небольшом хозяйстве. Он начинал злиться, ругал ее последними словами, и только стакан самогона или спирта делал его опять добрым и совершенно беспомощным. Мать лежала, смотрела на него и вдруг поняла, что если умрет, он сразу погибнет. Погибнет и будет брошен, как собака, в яму, ведь никого нет у него, кроме нее.

Назавтра она через силу поднялась и, увидев его просящие глаза, налила ему на опохмел. Взяла свою клюку, котомку с бутылкой самогона и вышла...

Сосед Вовка поморщился. Ползет опять Мишкина мать. Он ненавидел их обоих, но у Мишки постоянно было что выпить, поэтому он общался с ним. Жил он тоже один. Жена два года назад убежала в город с дачником, а он не стал воевать. Так проще: теперь один, но хозяин. Мишкина мать молчком поставила пол-литра на стол и села напротив.

— Че надо, бабка? — Вовка налил себе полстакана и, крикнув, выпил.

— Убей сына моего!

У Вовки стакан выпал из рук, он вскочил и, отпрыгнув от стола, заорал:

— Ты что, сдурела на старости, с ума сошла? За что же это я его убить должен? — Он трясущимися руками прикурил сигарету.

— Пойми, умрет он без меня и никто его не похоронит, не поможет по-человечески. А я его не для этого растила, чтобы так кончилось все... — И она растерянно замолчала.

Вдруг понятно стало, что берегла она его, сына своего, именно для этого, — чтобы похоронить по-человечески.

Она встала и, оперевшись на клюку, повернула на Вовку посеченное, как потрескавшаяся земля, лицо, взглянула на него тяжело и неотрывно, отчего у того по спине побежал ток.

— Забудь. Забудь, что сказала. Я пошутила, дружбу вашу испытывала. Вижу, что друг ты Мишке. А? Так? Говори!

— Та-а-ак, — прошептал Вовка.

— К тому же уехал он утром в город, лечиться от пьянства. Надолго... — Она резко развернулась, взмахнув подолом, как птица, и вышла, стуча палкой.

Вовка упал на ступи и заплакал от страха.

* * *

Что-то случилось с ней. Чутьем она понимала, что боль, проходящая по телу сверху вниз, заставляющая терять на время ориентацию, и следующая за этим легкая немота тела — неспроста. Понимала, что осталось совсем маленько, а там, наверное, — что-то вечное или ничего. Страх за себя не было, но вот сын...

Она вдруг заплакала и, потянувшись за рушником, ударилась об угол шкафа. Не понимая, потянулась опять и опять ударилась. Поднеся руку к лицу, осознала, что видит ее только правым глазом.

— Господи, неужто все? Надо торопиться. Торопиться!

Мишка проснулся. Около его продавленного дивана стояла банка с окурками, окурки валялись и на полу вперемешку с поломанным хлебом и огрызками огурцов. В комнате стоял устойчивый смрадный запах. Горел свет, окна были завешаны.

— Мать, сколько время?

Она сидела напротив.

— Спи, еще ночь.

— Не могу, дай похмелиться.

— Возьми. Только лезь сам в подпол, там в солонине бутылка...

Мишка радостно поднялся, босой и вонючий, проскочил мимо матери и, открыв подпол, полез вниз.

Подождав, пока глаза привыкнут к темноте, стал чиркать спичкой. Вот и солонина.

Он одной рукой держал спичку, а другой залез по локоть в солоную воду.

Вдруг тяжелая подпольная дверь, собранная из березовых плах, захлопнулась. Спичка погасла.

— Мать, что за дела?

Он обтер руки о штаны, потом попытался на ощупь найти лестницу. Наконец ему это удалось. Но как только он стал подниматься вверх, держа руку над головой, застучал молоток. Гвозди, один за другим, со скрипом стягивали крышку люка с полом.

Мишка враз вспотел.

— Мать, ты что, брось ерундой заниматься!

Крик его заглушили удары молотка.

* * *

Проскрипели половицы, и простучал батожок в комнату. Наступила тишина. Она давила на мозг, заставляла прислушиваться.

Сколько прошло времени, он не знал. Хотелось пить и курить. Он вспомнил о бутылке и обеими руками залез в бочку. Бутылка была. Радость волной ударила в голову. Быстро открыв пробку, выпил несколько больших глотков. Алкоголь обжог горло и почти сразу успокоил душу. «Да нет, пугает. Хочет, чтобы кодировался».

Он зажег последнюю спичку и, поднявшись по лестнице к крышке, попробовал, согнув голову, плечом открыть ее. Нет. Мать забила ее намертво.

— Мать, открой! Открой, прошу, я бросил пить! Мать! — Он заорал так громко, что даже сам испугался и закашлялся от надрыва.

Его никто не услышит. Погреб глубокий, под домом, хоть заорись. Он сполз с лестницы и стал обходить его втемную, трогая стены руками. В одном месте увидел еле заметный свет и понял, что это кошачий лаз. Но вход с той стороны, из дома, — далеко, даже рукой не дотянуться. Он опять громко заорал в сторону сочащегося света:

— Мать, ма-а-ать! Мама, мама, мама!

От крика зашумело в ушах, но наверху — полная тишина.

Он пополз обратно к бочке солонины, нашел оставленную бутылку и снова сделал несколько глотков. Сел на землю, оперся на стенку и, успокоенный алкоголем, задремал.

Очнулся от боли в спине и холода. Застывшие мышцы плохо слушались, вдобавок бил холодный озноб и не передать, как хотелось пить. Он совершенно ничего не видел вокруг себя и, вытянув руки, стал искать бочку солонины. Крышка и камень валялись на полу. Он попробовал пригоршнями набирать рассол, но, пока нес руки до лица, жидкость вытекала между пальцами. Вспомнил про бутылку из-под самогона, нащупал ее на земле и погрузил в бочку. Сделал несколько глотков. Но минутное облегчение сменилось еще более страшной жаждой.

Тут он вдруг заметил небольшое свечение, и чем дальше смотрел, тем ярче оно, казалось, становилось. Он вспомнил — кошачий лаз! Превозмогая боль во всем теле, Мишка полез на свет. Сначала пространство между носом и землей было сантиметров пятьдесят и он довольно спокойно мог ползти на боку. Но дальше, ближе к дыре в полу комнаты, оно резко сократилось и, когда до выхода осталось чуть больше метра, Мишка застрял. Он лежал на боку, ободранный торчащими из пола гвоздями, и понимал, что ни туда, ни обратно не вылезет. А свобода — вот она, светится и манит!

Вдруг в лаз, испугав его, заскочила кошка. Подошла и, чуть урча, понюхала его.

— Мурка, привет. — Он сейчас верил, что кошка поможет. — Привет, падла! Вылезь, скажи ей, что я сдыхаю, а? Я тебе молока дам банку. — И, захлебнувшись пылью, закашлялся.

Мурка спокойно выкопала перед его лицом ямку и, поджавшись, сходила по-большому. Передернулась и, закопав туалет, повернулась мордой к нему. Отчетливо произнесла: «Ми-и-и-ша» — и, вильнув хвостом, выскочила в дыру.

Мишка похолодел и, опять задавленно закашляв, заплакал. Он протянул

левую руку к отверстию и прохрипел: «Мам-м-ма».

* * *

Пролежав беспомощно три дня, Тася поняла, что умирает. Боль, не дававшая ей шевелиться и дышать, вдруг отступила.

— Ау, вот и слава богу, — тихо, еле слышно сказал кто-то.

«Приготовься к вечному, смиришься, и отпустятся тебе все грехи твои», — запело ей в уши легким свистом. Она хотела перекреститься, но рука не поднималась.

«Сын!» — стукнуло ей в голову. «Проститься надо, может, смогу». Последним усилием она перевернулась, упала на пол, ощутив гул в пустом как будто теле, и, опираясь на локти, подползла к дырке. Оттуда раздалось тихое: «Ма-ма-ма».

Она приблизила лицо к дыре и, вдыхая затхлый воздух подполья, заговорила в темноту:

— Прости меня, сыночка, думала, осилюсь, похороню тебя чисто, по-христиански, а потом уж сама. Мне-то хорошего не надо, лишь бы не бросили, закопали. Но, вижу, не успела, надо было раньше. А деньги на нашу смерть под бочкой зарыты, сынок. — И она засунула остывающую руку в дыру, надеясь нащупать его голову.

Бесчувственные ноги вдруг потянуло, мозг уловил тишину без хода сердца, и через мгновение сознание ее уснуло.

* * *

Вовка, преодолевая страх, сообщил участковому, что пропала тетя Тася и сын ее Мишка. Собрав народ, участковый взломал двери и обнаружил на полу труп тети Таси с засунутой в кошачью дыру рукой. Когда тело перевернули, увидели: пальцы на руке были переломаны, кожа содрана до костей.

Мишку вытащили живого, лохматого и безумного. Он без конца повторял одно и то же:

— Вот теперь я богат, вот теперь я богат... Спасибо, мама!

СОДЕРЖАНИЕ

Пётр ДЕДОВ. Из литературного наследия

Песнь о Родине. <i>Эссе</i>	1
Русская доля. <i>Эссе</i>	5
Бабушкины сказки. <i>Рассказ</i>	35
И падают травы. <i>Стихи</i>	39
Песня над плесами. <i>Рассказ</i>	42
Спаси и сохрани. <i>Рассказ</i>	61
Спологи. <i>Миниатюры</i>	66
Народная тропа	66
Непокорный тополек	69
Бокогрей.....	69
Утро года	71
Тихая моя родина	72
О памяти.....	72
Руки	73
Товарищ Правда	73

По страницам произведений Петра Дедова

Владимир ЯРАНЦЕВ. С высоты птичьего полета	75
--	----

Дедовские чтения

Татьяна БЕРНЯКОВИЧ. Парабеллум с Высокой гривы. <i>Рассказ</i>	82
Алексей МАКАРОВ. Анисья. <i>Рассказ</i>	86
Игорь КОЖУХОВ. Мамка. <i>Рассказ</i>	92

«Сибирские огни»: специальный выпуск, посвященный Петру Дедову

Журнал издан на средства гранта Новосибирской области, выданного в форме субсидии на реализацию социально значимого проекта

Редакция выражает благодарность вдове писателя Ольге Григорьевне Дедовой за предоставленные текстовые и иллюстрационные материалы

Над выпуском работали: Марина Акимова, Максим Долгов, Михаил Косарев, Дмитрий Рябов, Владимир Титов

На юбилейном вечере (Петру Павловичу — 75 лет)



